



Владимир Орлов
Камергерский переулок

ФТМ



Останкинские истории

Владимир Орлов

Камергерский переулок

«ФТМ»

2008

Орлов В. В.

Камергерский переулок / В. В. Орлов — «ФТМ»,
2008 — (Останкинские истории)

Это новый, долгожданный роман классика современной литературы Владимира Орлова. Роман, сочетающий детективное начало и тонкий психологизм. Захватывающий сюжет, узнаваемые персонажи, сатира на окружающую действительность, – все это ставит «Камергерский переулок» в ряд лучших произведений мировой литературы.

© Орлов В. В., 2008

© ФТМ, 2008

Содержание

1	5
2	12
3	14
4	22
5	29
6	35
7	44
8	50
9	55
10	60
11	65
12	70
13	74
14	78
15	82
16	85
17	91
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Владимир Орлов

Камергерский переулок

1

Прокопьев любил солянку. Случалось, заходил в проезд Художественного театра, а с возвращением имени – в Камергерский переулок, и там, в закуской, заказывал солянку. Коли усаживался за столик у двери, мог – правда, с наклоном головы, – наблюдать хорошо известную ему памятную доску. Созерцал он ее и на подходе к закуской. Золоченые буквы на куске искусственного, надо полагать, гранита сообщали о том, что в здешнем здании проживал и работал Сергей Сергеевич Прокофьев. За столиком Прокопьев вступал в рассуждения. Иная буква в фамилии – и вот тебе разница! Сергея Сергеевича Прокофьева знали все, а его, Прокопьева, – с десяток человек. Но мысли об этом приходили, лишь когда была откупана водка (или кружка пива) и горячей вошла в Прокопьева солянка. После рассуждений о буквах «п» и «ф» можно было подумать и о второй порции солянки.

Человек любознательный, Прокопьев, естественно, заглядывал в книги с полезными советами. В микояновскую кулинарную мифологию, в частности. С намерением выяснить, какие же такие ели в столице солянки. Описание рыбной солянки в «Рецептах русской кухни» позабавило Прокопьева нереальностью воплощения. Солянку, должную иметь светлый, слегка красноватый бульон, рекомендовано было готовить из двухсот граммов свежей семги, из двухсот граммов свежего судака, двухсот граммов свежего осетра, маринованных белых грибов, стакана огуречного рассола, всяческих пряностей и добавок (следовало двенадцать пунктов составных). «Оно, конечно, неплохо бы... – возмечтал Прокопьев. Но тут же и рассудил: – Посчитаем, что я человек не рыбный...» В доме одной из своих приятельниц Прокопьев выписал рецепт иной солянки: «Репчатый лук нашинковать, слегка поджарить и тушить с томатом и маслом, налив немного бульона. Огурцы очистить от кожицы и нарезать ломтиками. Мясные продукты (вареные и жареные) могут быть разные: мясо, ветчина, телятина, почки, язык, сосиски, колбаса, курица и т. д. Их следует нарезать мелкими ломтиками, положить в кастрюлю с приготовленным луком, прибавить огурцы, каперсы, соль, лавровый лист, залить бульоном и варить 5–10 минут. Перед подачей на стол в солянку положить сметану, ломтик лимона, очищенный от кожицы, мелко порезанную зелень петрушки или укропа...»

И мясную солянку Прокопьев сотворить не взялся бы. Приятельницы же его к особым кулинарным подвигам не были способны. Заказ блюда, к какому Прокопьев был расположен, в ресторане обошелся бы ему рублей в триста, совершенно его бюджетом не предусмотренных. И потому Прокопьев брал солянку в Камергерском переулке, в закуской, там за нее приходилось платить двадцать три рубля (год назад и вовсе – пятнадцать). Понятно, что в камергерской солянке составных было куда меньше, нежели в солянках книжных, никакие почки, языки, ветчины, куры, телятины в ней не присутствовали (хорошо хоть кусочки мяса плавали здесь вместе с кусочками сосисок), и уж, естественно, каперсы в ней не водились, но те солянки были умозрительно-буквенные, а наша, камергерская, прибывала на стол горячая и живая. Сам вид ее и запахи в Прокопьеве, особенно голодном, разрушали всяческие бормотания по поводу иллюзорности или же бессмыслия бытия.

Прежде, пожалуй, ничто не могло здесь отвлекать Прокопьева от удовольствий. Но вот появились машины. Или мобилы. Поначалу они вели себя смирно, а если их сотовые взвизгивали, они выходили для разговоров на мостовую, пусть и под дождь. Но потом их порода чрезвычайно расплодилось, и самые плюгавые девицы, на вид – из-за черты бедности, чуть

что вытаскивали из сумочек или карманов плоские устройства и принимались при людях давать кому-то распоряжения. Можно было подумать, что публика у нас состоит теперь исключительно из распорядителей. При этом Прокопьева раздражали звуки голосов, чаще всего повелительно-противных (а акустика в закуской была замечательная), и, конечно, бесцеремонное пренебрежение к присутствию вблизи иных людей. Но недолгие наблюдения вызвали у Прокопьева мысли о том, что этих громкоговорящих следует и пожалеть. Как правило, это были люди молодые – лет эдак двадцати пяти, ну, под тридцать. Скорее всего – секретарши, мелкие клерки из ближайших контор, менялы из пунктов валютных метаморфоз, продавцы (то бишь приказчики, но не они приказывали) из здешних дорогих магазинов, охранники, особо ничего не охранявшие, но должны были пребывать в штате ради престижа фирмы. Один из знакомых Прокопьева назвал их «яппи», мол, появилась такая прослойка. Ничего они пока не достигли, но средств на прокорм добывали побольше всяких там профессоров. А должен заметить, что посиживали в закуской персонажи значительные, или даже знаменитые, или крутые – конкретные. Да и легенды о приключениях в Камергерском людей прославленных (корифеев МХАТа, например) или о том, что здесь поили и кормили в кредит студента Высоцкого, не могли не вызывать внутри закуской особенных направлений мыслей. А эти вот, по разумению знакомого Прокопьева, «яппи» жили все же с комплексами маленьких людей, и их громкоговорения при публике вынуждались естественным желанием самоутвердиться и заявить миру, что они не хуже других. Вообще иные посетители закуской нередко привирали, приписывая себе чужие судьбы и заслуги. Энергетика, что ли, здешних стен тому способствовала. Какой-нибудь торговец обложками документов из подземного перехода, прибывший за капиталом с ридной Полтавщины, мог объявить себя академиком-ядерщиком из Дубны. А молодцы-привратники в штатском, стоявшие у дверей Думы (она-то – рядом, любимица народная), здесь важничали, проявляя себя чуть ли не генералами и героями отечественной истории.

«Ну и не я им судья, – размышлял Прокопьев, – лишь бы не орали в свои говорильни, лишь бы вели беседы шепотом...»

Однажды пожелание Прокопьева осуществилось. За столик его под села девушка, принесла бутерброд с беконом и стакан сока. Прокопьев читал «Спорт-экспресс», девушка интереса у него не вызвала. Взгляд на нее, конечно, был брошен. Невзрачная, волосы плохие. То есть не то чтобы сами по себе плохие, а в плохом порядке. Нынче одной из примет неблагополучия были именно неухоженные волосы. Прокопьев продолжал чтение газеты, а тут знакомо затренькало. Девушка с плохими волосами (и цвет-то их был какой-то невнятно серый) вытащила из сумочки телефон и прошептала: «Да, я, Нина, слушаю...» Услышанное (минуты четыре без ее реплик), видимо, удивило и расстроило девушку. Прислонившись к стене, она принялась что-то шептать в плоскость с кнопками, похоже – оправдываясь. Собеседник ее разговор прекратил, девушка убрала телефон в сумочку, сидела минуты две, ни на кого не глядя, а потом расплакалась.

– Нина, может быть, я чем-либо смогу помочь вам? – сказал Прокопьев.

Девушка резко взглянула на него.

– Откуда вы знаете мое имя?

– Вы сами назвали его, – сказал Прокопьев. – Вы – Нина, а я Прокопьев Сергей... Не Прокофьев, как на доске, а Прокопьев.

Он был намерен произнести какие-либо любезности и призвать Нину не расстраиваться, мол, у всех сейчас поводы для расстройств, в частности и у него, хотя бы и из-за того, что в его фамилии подменена буква «ф», и ничего, живет, то есть свести разговор к шутке и заставить девушку заулыбаться. Но она вовсе не заулыбалась, а глядела на Прокопьева в раздражении, помолчав же, заявила:

– Ну и помалкивайте себе, Прокопьев Сергей! И уж кому кому, но не вам лезть в мои дела!

Она поднялась, почти вскочила и быстро двинулась к двери. Линии ее тела нельзя было признать безоговорочно дурными, но Прокопьев тотчас забыл о них, он повторял про себя: «Срезала она меня, срезала...» В этом ее «не вам!», окруженном рвами пауз и произнесенном чуть ли не при сжатых в презрении губах, вызвучилась оценка его, Прокопьева, как неспособного помочь кому-то и уж тем более участвовать в каких-то, скорее всего, опасных делах.

– Полно, Прокопьев! Не забивайте голову чепухой! – сказал сидевший справа от Прокопьева странный субъект по имени Фридрих, по одному из прозвищ – Конфитюр. – Лучше послушайте. Приобретать виллу сегодня выгоднее на Балеарских островах, а не на Мальте и не на Кипре.

– Какие еще Балеарские острова! – воскликнул Прокопьев. – Какие виллы!

У Прокопьева с Фридрихом Малоротовым, книжным челноком, случились два-три пересечения в закускойной. Фридрих, мужчина лет тридцати пяти, нос – клювом какаду, жесткие волосы дыбом, вечная сумка на колесах у ног, иногда и пустой рюкзак (сбыл товар), чрезвычайно интересовался ценами на замки, виллы и коттеджи. Главным образом, на берегах Средиземного моря. Отчего и получил новое прозвище – Средиземноморский. В закускойной Фридрих выкладывал на столик номера глянцево – манящего журнала «Твоя крепость» и принимался меленькими цифрами производить хотя бы и на обрывках газет упоительные расчеты. Прокопьеву стало известно, что Фридрих был убежден: рано или поздно его предпринимательские удачи позволят ему приобрести ласточкино гнездо на лазурных берегах. Тем более, что своего жилья он не имел, обитал у жены в Щербинке, вблизи враждующего с ним воинства – тещи и шурина, Этот шурина пробирались ночью к холодильнику и пожирал любезный натуре Фридриха клубничный конфитюр. Из тактических соображений Фридрих был вынужден банки с конфитюром до Щербинки не доносить, а вбирать в себя лакомство в Камергерском переулке. Журнал «Твоя крепость» призывал отечественное среднее классье возместить потерю Аляски освоением лениво-журчащего подбрюшья Европы, всяческих Калифорний и Флорид, а с ними – и островов Карибского бассейна. (На вопрос, отчего он не помышляет о загородной резиденции на Барбадосе или Антилах, Фридрих якобы отвечал, что это слишком далеко от Щербинки, дороги и прогонные обойдутся в копейчку). Журнал сообщал Фридриху самые точные и самые свежие сведения о стоимости того-то и того-то (земли, зданий, строительных работ), о кредитах, рассрочках, о скидках и льготах, ну и о прочем. Фридрих расчеты производил сравнительные, и выяснялось, что дом на Корсике – и именно не рядом с Аяччо или Бастией, а в местечке Алерия – обойдется ему дешевле дома тех же свойств вблизи Ниццы либо на острове Родос. «Двадцать долларов, двадцать долларов... – бормотал Фридрих и нервически смеялся. – А если учесть двадцать лет рассрочки...» Но и успокоиться не мог. Томило, будоражило его предчувствие. Что где-то среди географических названий и цифирок, коли он продолжит поиск, обнаружится, не может не обнаружиться, уж совсем выгодное для него предложение. И вот, вот оно! Конечно, конечно же – местечко Анавидис на западном боку острова Корфу! Там выгоды выходили и не в двадцать долларов – во все тридцать два! А если принять во внимание рассрочку на двадцать лет! А если принять во внимание!.. Фридрих Средиземноморский чечетку готов был отлупцевать на брусчатке Камергерского! Но прежде стоило заказать сто граммов коньяка в честь выгодной сделки. И выделить часть разницы от только что проведенной коммерции на разгул. И позволить себе снять к ночи девочку с белыми ногами на Тверской под аркой Брюсова переулка...

Так, говорили, продолжалось лет пять.

Нынче же исследования Фридриха привели его на Балеарские острова. Восклицания Прокопьева («Какие еще Балеарские острова! Какие еще виллы!») его не только удивили, но и обидели.

– Но это же и морской свинке должно быть понятно, – угрюмо произнес Фридрих, – что владения вам лучше приобретать на Балеарских островах!

– Да нигде я не собираюсь приобретать какие-либо владения! – снова воскликнул Прокопьев. – И что же вы сами-то не отправитесь на Балеарские острова?

– Мной еще не сделан выбор! – ответил Фридрих, но в нем тотчас же возникли несомненные подозрения, он взглянул на Прокопьева враждебно-угрожающе.

– Успокойтесь, Фридрих, – сказал Прокопьев. – Мои интересы чрезвычайно далеки от ваших интересов.

И действительно, он думал теперь о девушке с неважной прической, резкими словами оценившей его, Прокопьева, суть. «В чем драма ее жизни? Отчего она расплакалась?» – размышлял Прокопьев.

Но при этих его мыслях в закусочную по-хозяйски вошел мужичок лет сорока, в майке, спортивных штанах и шлепанцах на босу ногу. Он прошагал к кассирше Люде (на боку ее кабинки, кстати, был укреплен трафарет: «Касса работает в настоящем режиме цен») и объявил, отчасти радостно:

– Опять прилетали! Через форточку и прямо к ней!

– Ой, Васек, ой! – воскликнула кассирша. – И сколько же их было?

– Трое. Как и в прошлые разы. И сразу к ней, к стерве!

С кружкой пива и ста граммами «Завалинки» Васек направился к столику Прокопьева.

– Можно к вам?

– Садись, Васек, садись, – Фридрих снова принялся выводить цифирки, теперь уже прямо на глянцево-стеклянных журналах.

– Я вас, пожалуй, видел, – сказал Васек.

– Наверное, – кивнул Прокопьев. – Я сюда захожу иногда...

– А я из здешнего двора. Вон там, за ихней кухней, – и он протянул Прокопьеву руку. – Василий Фонарев. Частный извозчик. Водила-бомбила. Сейчас вот мотор распоганился. Я с ним вожусь. Сажу дома с бабьем. Сам-то я из Касимова. Вы в Касимове, небось, бывали.

– Нет, – сказал Прокопьев. – Не бывал.

– Ну, как же! Вы в Касимове не бывали? – удивился Васек. – Я вам из Касимова воду привезу. Трехлитровую банку. В Касимове вода замечательная. От нее все пройдет. Вас как звать-то? Привезу, Сергей, обязательно. И Фридриху я обещал. Ну и что, что не привез? Привезу. И не потому, что вода замечательная, а из уважения. И тебе, Серега, привезу.

– Ты, Васек, опять в запое, что ли? – поинтересовалась кассирша Люда.

– Ни в коем разе, Людмила Васильевна, – отвечивал Васек. – Но хоть бы и в запое. Но не в запое. А так выпил малость из-за недоумений. Ведь они совсем обнаглели, гуманоиды-то эти! Башки бы им поотрывать! Но у них их нет.

– На кого же они, Васек, похожи?

– На велосипедные шины. Раздутые. С большими ниппелями. Вот с такими. Правда, когда в форточку влетают, слипаются в колбасу. Но ниппель у них еще больше становятся. И мимо меня прямо к ней, к полковнику!

– Какой у тебя еще полковник? – оторвался от расчетов Фридрих.

– Ну, жена моя! – поморщился Васек. – А кто же она, как не полковник? И ведь ждет их, стерва! Сразу троих. Я поднимаю голову, а они уже отряхиваются. Как тут не прийти в недоумение и не выпить?

– Ой, Васек, ой! – восхитилась кассирша. – Какая жизнь у тебя интересная! И сейчас они у тебя?

– Нет, улетели. А полковник послала меня за бутылкой. Чтобы энергии в ней восстановились. Побегу в «Красные двери». Ты, Серега, не расстраивайся. Я тебе воду из Касимова привезу. Раз пообещал. Банку трехлитровую. Может и ведро.

И Васек, не теряя шлепанцев, поспешил в бывшую булочную, ныне – не знающий покоя и ночами магазин, прозванный в народе «Красными дверями».

А Фридрих достал из кармана куртки калькулятор и, видимо, стал перепроверять результаты изысканий.

– Что же ты раньше жалел эту свою машину? – поинтересовалась кассирша Люда.

– А возьмет и сядет у заразы накопитель энергии, – разъяснил Фридрих. – А потом, как только дело доходит до восточного побережья Сардинии, цифры в нем начинают дергаться.

«Где же сейчас печальная девушка Нина? – опять обеспокоился Прокопьев. – Не издеваются ли над ней сейчас какие-либо изверги? Жива ли она?»

Не произнеся этикетно-общепитовских слов, на свободные у столика стулья слева от Прокопьева и Фридриха Малоротова опустились двое мужчин средних лет с как будто бы знакомыми Прокопьеву лицами. Один был вроде бы актер. Лицо другого, сообразил Прокопьев, не раз дергалось перед ним на экране телевизора. Он всегда о ком-то вспоминал. Да, да, именно вспоминал. Юбилеи, похороны – и он непременно возникал на экране, и выходило так, что он был первейшим другом юбиляра или только что почившего. Высоцкий, Даль, Тарковский, Галич и вовсе удаленные от нас годами мастера – Пришвин, Пастернак и даже Михаил Афанасьевич Булгаков. Вот о ком он говорил. А на вид первейшему другу и воспоминателю более сорока пяти лет дать было никак нельзя.

– Да врешь ты, Шура! – громко произнес, по мнению Прокопьева – актер, отвлекаясь от горшочка с жарким. – Врешь! Не мог ты этого видеть!

– Не конфузь ты меня, братец Коленька, перед людьми, – милейше улыбнулся братцу Коленьке воспоминатель Шура («Мельников! – сейчас же явилось Прокопьеву. – Александр Мельников!»), – а то ведь черт-те что могут обо мне подумать... Сейчас же перепроверим мои слова у людей незаинтересованных... Вы, молодой человек, кто по профессии?

– Я? – растерялся Прокопьев.

– Да. Вы.

– Какой же я молодой человек?

– Неважно, – капризно махнул рукой Мельников. – Вы, похоже, имеете отношение к искусству...

– Да что вы! – чуть ли не испугался Прокопьев. – Я – ремесленник.

– И каково ваше ремесло?

– Я...я... – Прокопьев совершенно смутился. – Я мастер по перетягиванию пружин...

– Каких пружин? – удивился Мельников.

– Самых обычных! – Прокопьеву захотелось сейчас же разъяснить Мельникову свой случай, чтобы не затруднять головоломкой человека, и так содержавшего в сусеках памяти множество воспоминаний и мыслей. – В матрасах. В диванах. В креслах. И вам, небось, приходилось испытывать неудобства от покореженных пружин в лежанках.

Вероятный актер Коля расхохотался, а первейший друг знаменитых и великих нахмурился.

– Откуда вам ведомо о моих неудобствах? – спросил Мельников чуть ли не с вызовом.

– Я догадываюсь, – скромно сказал Прокопьев.

А актер Коля хохотал и повторял: «В самое яблочко! В самую десятку!»

– Прекрати, Николай! На нас и так все смотрят! – сердито заявил Мельников. – Ты радуешься тому, что пружинных дел мастер не знает, по всей видимости, биографию Василия Ивановича Качалова и не сможет оценить мою историю.

– Но вдруг он знаменитый пружинный мастер! Вдруг он перетягивает золотые пружины!

– Да что вы! – воскликнул Прокопьев. – Какие золотые! Вы можете мне не поверить, но иногда я добываю материал для починки диванов и кресел на помойках и в мусорных баках.

– Ваше счастье, что на помойках! – обрадовался Николай. – А то ведь он, якобы наблюдавший ребенком прогулку Качалова, Есенина и собаки, тотчас же бы принялся ожидать вашей кончины и на поминках выступил бы с воспоминаниями.

– Ты невыносимый пошляк, Николай! – трагически произнес Мельников, вскочил, пальцы его стали терзать черную бабочку под кадыком, будто его душил гнев, а бабочка сдавливала дыхательные пути. Но тут, видимо, вспомнив о чем-то, присел. – Так, так, так. Это замечательно, что вы сегодня обнаружили. Это знак судьбы. А мне ведь надо починить пружины в диване и двух креслах. В них память о таких людях! Вы не откажетесь от услуги? У вас есть телефон? Продиктуйте, пожалуйста, его номер, с вашего позволения через два дня я вам позвоню.

Приятеля обменялись еще несколькими колкостями и покинули закусочную, призвав пружинных дел мастера не забывать о несовершенствах домашнего быта маэстро Александра Мельникова. При этом Николай опять принялся подхохатывать.

«Он, этот Мельников-то, – вспоминал Прокопьев, – вроде бы и режиссер, и критик, и передачи на „Культуре“ временами ведет с министром на равных. Возвышенный человек! А тоже мается из-за ослабших пружин. Где-то я видел недавно Николая? В каком-то фильме... Криминальном, что ли...»

– Остается еще пройти западное побережье Крита, – вздохнул Фридрих. – Но там обычно цены заламывают безобразные.

И сейчас же, но явно не в связи со вздохами Фридриха, а само по себе, произошло некое движение над столиками закусочной и над утихшими в миг посетителями. Случилось будто бы исчезновение света, но потом пошли мерцания, вспышки разноцветные, образовались переливы и покачивания множества тонких желтоватых гирлянд, вызвавших у Прокопьева мысли о телеграфных лентах из фильмов о Гражданской войне, и стрекот телеграфистов вроде бы зазвучал, и звонки раздались – тоже вроде бы от старинных аппаратов.

Впрочем, все это продолжалось минуту, и снова ровным стал свет плафонов-ландышей, по девяти на двух стенах, и возобновилось прохождение народа по яркому от юбилейных фонарей (под Шехтеля) Камергерскому переулочку перед окном закусочной, тоже, казалось, на минуту прекратившееся.

А вблизи столика Прокопьева объявился толстяк с черными усами, имевший в руке рюмку с коньяком.

– Присесть позволите?

– Конечно...

– Благодарствую. Разрешите представиться. Арсений...Линикк. Два «к» на конце... Линикк Арсений... Гном. С телеграфа. Да, отсюда, с Центрального...

Линикк, пусть и невеликий ростом, на гнома никак не походил, был широк в плечах, голову имел большую, да и носили ли гномы эдакие гусарские усы?

– Какой же вы гном! – рассмеялся Прокопьев. – Вы, скорее, ясновельможный пан!

– Однако Гном, – печально произнес Линикк.

«Ну что же, – подумал Прокопьев, – видимо, у него есть поводы для подобных шуток».

– Выпьем за тех, кто нынче в беде, – предложил Линикк.

Остатком жидкости в стакане Прокопьев поддержал служителя Центрального телеграфа.

Отчего-то ему захотелось закрыть глаза. И тотчас же при склеенных веках перед ним поползла лента телеграммы: «...большой опасности тчк сор не вынесен зпт бутылъ запечатана тчк умоляю...»

Прокопьев в испуге открыл глаза, не пожелав узнать, от кого и о чем исходила мольба.

Час назад на месте Арсения Линикка перед Прокопьевым сидела девушка с огорчившими его волосами. Не она ли теперь посылала кому-то телеграмму?

Но ее адресатом Прокопьев, уж точно, стать сейчас не желал.

2

К тому времени я был знаком с Прокопьевым.

В разговоре со всеведующим Мельниковым Прокопьев отчасти лукавил. Сам не зная зачем, принизил степень своих навыков и умений. Как же, возразит внимательный читатель, он ведь назвал себя мастером. Мастером-то мастером, но мастером каких-то перетягиваний пружин. На самом же деле он числился краснодеревщиком и служил в уважаемой мастерской на Сретенке реставратором мебели. Краснодеревщик обязан быть и столяром, и слесарем, и плотником, и умельцем во множестве иных искусств, инкрустатором, например, клейщиком, собирателем антикварных щепок, изобретателем и пр. Сергей Максимович Прокопьев имел диплом инженера, трудился на военном заводе, но при известных трясках на исторических ухабах был выброшен в реалии жизни сокращенно-упраздненных. Попытки преуспеть в предпринимательстве привели его не только к краху, но чуть и не к гибели. У большинства сограждан Сергея Максимовича денежных знаков на приобретение обновок тогда не было, перешивали ношеное, чинили предназначенное на выброс и в утиль. Знакомец Прокопьева, еще со школьных лет, Митя Шухов добывал прокорм домочадцам именно возобновлением жизни семейных лежанок и Прокопьева уговорил научиться его ремеслу. Шухов, виртуозом, с помощью капроновых нитей, изоляционных лент, обрезков скотчей и лесок заставлял увечные пружины подниматься, либо, напротив, ужиматься до установленных необходимостью размеров. Он был и хирург, и архитектор, и вязальщик одновременно. В присутствии Прокопьева он мог молча просидеть в раздумьях над судьбой пружин, болезненных и голых, час или два, просчитывая какие-то диагонали, углы, линии, центры тяжести, силу упора, а потом произнес: «Со страхом и надеждой!», принимался руками ловкача-иллюзиониста устраивать невероятные подтяжки или, коли надо, растяжки, прижимы, чуть ли не контрфорсы, наконец, и справедливое натяжение пружин восстанавливалось. А потом диван или матрас или кресло приобретали и покров, либо старый, но залатанный, либо выкроенный и пошитый, скажем, из отвисевших уже штор. Иногда в дело шли и ковры.

Поначалу к занятиям приятеля Прокопьев относился с высокомерием, но вскоре неизбежность хоть как-либо зарабатывать (не сбором же бутылок) вынудила его смириться с матрасами и диванами. «И Шухов-то из кандидатов наук к пружинам прибрел, – при этом подбадривал себя Прокопьев. – А вроде бы и к докторской подбирался...» С тех пор прошло шесть с лишним лет, и Прокопьев в своей новой профессии преуспел. Он мог теперь склеивать ножки венских стульев из щепок, обучился даже гобеленному искусству и пастушескими картинами (как и иными материалами), обтягивал кушетки и оттоманки, чинил сложнейшие замки в екатерининских конторках и бюро. Много, многое что умел делать. Или даже сотворять. В мастерскую реставраторов его приняли по конкурсу. И был Прокопьев чрезвычайно доволен тем, что пять его стульев стояли теперь в Кремлевском дворце архитектора Тона (растраты Бородина его не заботили). Но упоминать об этом в разговорах – хотя бы и по делу – не любил. Смущался, что ли... И мастером он аттестовал себя вовсе без возведения слова «мастер» в некий титул и не приравнивая себя к Маэстро. Это было естественное обозначение его рабочего состояния. Столяр, слесарь, краснодеревщик, мастер. Сколько было вокруг него подобных, никому неведомых умельцев. Смущение же его происходило оттого, что он все еще считал свое нынешнее занятие вынужденным. А жизненное предназначение его было как будто бы иное.

Но когда же откроется ему это его предназначение? И откроется ли? Ведь ему уже отпущено тридцать шесть лет жизни.

Познакомился я с Прокопьевым при обыденных мужских обстоятельствах в дружески-приятельской «Яме» на углу Столешникова и Дмитровки (тогда – Пушкинской), то бишь

в пивном заведении «Ладья». Дельцу Крапивенскому, сдавшему в аренду испанским негодичантам последний оплот дружеских общений, доступный карману простого москвича, были адресованы народные проклятья и пророчества. Говорилось, в частности: «Дело его провалится!» И пророчество свершилось. Знаменитый московский провал на Дмитровке случился именно у стен Ямы! Теперь там нет ни каталонских супов из бычьих хвостов и ушей, ни очаковского пива. Дома напротив, рухнувшие в памятную ночь, выстроены заново, а здание Ямы стоит в трещинах, и конца его ремонтам не предвидится. Жизнекипящий же прежде Столешников переулок стал мертвым... Впрочем, что беречь душу воспоминаниями и досадами на алчность дельцов... Упомянул же я о Яме (может, в дальнейшем придет на память и еще что-либо о ней и ее персонажах) в связи с Прокопьевым. Подробностей нашего с ним знакомства я не помню. Скорее всего, оно вышло банальным. Стояли рядом, пили пиво, разговаривали о чем-то, может, о шахматах, может, о выборах и кандидате Брынцалове, ну и называли друг другу свои имена (тогда уже было мне разъяснено: «Не Прокофьев, а Прокопьев»). Потом сироты Ямы встречались иногда в теснотах рюмочной в Копьевском переулке, но и рюмочную история отменила, отдав ее пространство – тут уж и досадовать причин не было – возведению филиала Большого театра. Остались для собеседований местным жителям и работникам с низкоумеренным достатком «Олады» на Дмитровке да закусовая в Камергерском. Но и при существовании этих приютов приходилось жить в упованиях («Авось не закроют!») и тревогах: и после кратких удалений из Москвы случалось гадать, а не перекуплены ли «Олады» и «Закуска», не превратились ли они в заведения со швейцарами в крылатках и цилиндрах, держатся ли бастионы? И нелишними оказались эти тревоги...

В день знакомства Прокопьева с Васьком Фонаревым, Мельниковым и Арсением Лиником я в Камергерском не был. (А появлялся я там чаще Прокопьева, живу рядом, через Тверскую, в Газетном переулке). Арсений Линик, с усами своими достойный быть героем Сенкевича, Генриха, естественно, но объявивший себя отчего-то Гномом Телеграфа, был мне известен. И не только мне. К удивлению Прокопьева кассирша Людмила Васильевна сейчас же назвала толстяка Сенечкой и поинтересовалась, отчего нет с ним рядом Стаса Милашевского. Прокопьев же все никак не мог освободиться от видений предпотопочных танцев, трепыханий телеграфных лент и от навязанного ему текста умоляющей телеграммы. Он смотрел на Линикку с удивлением и даже с подозрением. Линикку будто бы спустился к его столику из тех танцующих телеграфных лент. Впрочем, скоро Прокопьев уговорил себя не держать в голове очевидную глупость...

Александр Михайлович Мельников позвонил Прокопьеву через неделю. По его словам, участия пружинных дел мастера требовали два кресла и диван. Мемориальные. Обтянуты они были кожей. Накануне Прокопьев видел Мельникова в телевизионных поминаниях Александра Галича, и выходило, что Мельников научил Галича играть на гитаре, во всяком случае, первая гитара поэта была подарком именно Мельникова. «А не преподнес ли Мельников и рояль Сергею Сергеевичу Прокофьеву?» – пришло в голову Прокопьеву. Прокопьев давно хотел посетить музей-квартиру композитора, но все никак не мог этого сделать. Возможно, намерению препятствовали камергерские солянки.

Совсем ненужная ему озабоченность или даже тревога не покидала теперь Прокопьева. И Прокопьев не мог не признаться себе, что вызвана она привидевшейся ему телеграфной лентой и испугом (со слезами) неприметной девицы (Нины, вроде бы), получившей сотовое и, возможно, зловещее для нее сообщение.

Странно это было, странно...

3

На крашеной в желтое скамейке Тверского бульвара сидел молодой человек. Впрочем, можно было лишь предположить, что человек этот молод. Темно-серая кепка была сдвинута им вниз, козырек ее доходил чуть ли не до кончика носа. Закрыты у него глаза или открыты, определить было нельзя. Да и у кого имелась надобность определять? Он то ли дремал, то ли обдумывал что-то в сосредоточенности мыслей. Отсутствие соседей позволяло ему и дремать, и размышлять.

Скамейка человека в кепке, по мнению студентов Литературного института, стоявшего рядом, размещалась внутри мистического треугольника ПЕМ. Знатоки московских пространств могут объяснить человеку несведущему, что ПЕМ – это три памятника – Пушкину, Есенину и Маяковскому. Трем убиенным поэтам. Происходившее внутри мистического треугольника часто оказывалось печальным. Сидевший на желтой скамейке, видимо, посчитал это соображение несущественным.

День был прохладный, но сухой и безветренный. Шуршали под ногами прохожих не поддавшиеся усердиям коммунальных служб листья, желтые, оранжевые, красные, а то и зеленые. Прогуливались по бульвару балбесы, не пожелавшие сидеть в сухой день в аудиториях и классах. Шестеро из них с банками пива и энергетических напитков в руках направились к скамейке человека в кепке явно с намерением согнать сидельщика с места. Они, особенно, девицы с полосками голого тела над джинсами, и объявляли об этом вслух. Но движение их было прекращено чернявым мужиком лет сорока в камуфляже и кирзовых сапогах.

– Пошли отсюда вон! – заявил мужик. – Небось, сосунки, сейчас оседлаете спинку, и грязь с обуви будете соскребать о сиденье. Ищите кайф в другом месте!

Парни, студiosi или школяры, были на вид здоровяки, откормленные «растишками» и удобрительными добавками, рванулись к мужику, естественно, их должно было разозлить словечко «сосунки», но тут же и остановились. Их остановил взгляд мужика. Мужик стоял, ноги расставив, руки держа в карманах куртки, «шкафом» из-за малого роста назвать его было нельзя, но в «комоды» он вполне годился. А главное, взгляд его был совершенно злодейский.

– Да это псих какой-то! – объявил один из парней. – Пошли отсюда.

А мужик тем временем направился к убереженной им от грязи скамейке. И не просто к скамейке, а к человеку в кепке. Не спросил, как полагалось бы сообразно московскому этикету: «Рядом с вами свободно?», а уселся вплотную к будто бы придремавшему. И не уселся даже, а как бы по неловкости плюхнулся на скамью, толкнув человека в кепке в бок.

Тот не пошевелился.

– Оценщик, ты чего, спишь, что ли, или притворяешься? – спросил мужик.

И теперь человек, названный Оценщиком, не пошевелился.

– Оценщик, ты дурака, что ли, валяешь? Или помер?

И мужик грубо стянул с головы Оценщика кепку.

Глаза Оценщика были открыты.

Теперь можно было понять, что он вовсе не юнец, хотя и выглядел моложавым.

Оценщик выхватил из рук мужика кепку и снова утвердил ее у себя на голове, прикрыв теперь и кончик носа.

– Не хочешь со мной разговаривать? – резко сказал мужик. – Ты что, не узнаешь меня?

– Я узнаю тебя, Сальвадор, – сказал Оценщик. – Для кого-то ты Сальвадор, а для кого-то – Сало... А разговаривать нам с тобой не о чем.

– Не называй меня Салом! – вскричал мужик и сжал запястье Оценщика, вызвав стон соседа по скамейке.

– Ну, Сальвадор так Сальвадор, – скривился Оценщик.

Каким макаром возникла кличка «Сальвадор», Оценщик не знал. Понятно, что не из-за испанца со знаменитыми усами. Поговаривали, что некогда специалиста по фамилии Ловчев забрасывали диверсантом-инструктором к партизанам в лесные межвулканы Сальвадора. И такое могло быть.

– Шеф тобой недоволен, – сказал Сальвадор.

– Он твой шеф, а не мой, – сказал Оценщик. – У меня нет шефов.

Сальвадор закурил.

Минуты две молчали. Закурил и Оценщик.

– Хорошо, – сказал Сальвадор. – Где серьги графини Тутумлиной, с изумрудами и бриллиантами на платиновой подкладке?

– Вы что, сдурели, что ли?! – удивился Оценщик. – Откуда я могу знать, где они?

– Ты, может, и не слышал о них? – усмехнулся Сальвадор.

– Слышал, – сказал Оценщик. – И не только слышал, но и держал в руках. Но где они теперь, я не знаю. Я полагал, что они у твоего шефа.

Держал, держал Оценщик в руках эти серьги. Переливами, игрой камней любовался. Некогда серьги принадлежали графине Ольге Константиновне Тутумлиной (дом на Покровке, нынче там концерт «Анаконда»). Эта Ольга Константиновна как-то привезла из Вены четыреста восемьдесят платьев. Было тогда московской красавице сорок лет. А накануне коронации Александра Второго, позже Освободителя, чтобы соответствовать себе и случаю, она в несколько дней, при тогдашнем европейском бездорожье, съездила в Париж, а ей уже исполнилось восемьдесят семь, и доставила к торжеству новейшие туалеты и драгоценности. Среди них и серьги с изумрудами и бриллиантами на платиновой основе. Её приятельница и ровесница княгиня Екатерина Мосальская, известная в Европе, как полуночная княгиня или принцесса Ноктюрн, уговаривала Тутумлину продать ей парижские серьги («к цвету глаз...»), прельщала одним из своих поместий в Новороссии, но увы... И вот теперь серьги Тутумлиной взволновали некогда шкодливого фарцовщика в жалких вельветовых штанишках, коммерсанта – из мелких, при том, наверняка, и стукача, а ныне – чуть ли не олигарха Суслопарова.

– Ну, так что, Оценщик, – сказал Ловчев-Сальвадор, – где серьги?

– Это когда-то я был Оценщик. Теперь я – подзаборная шваль. Про серьги поинтересуйтесь у Антиквара.

– К Антиквару у нас особенные счета. Но где он, Антиквар? Далече... – сказал Сальвадор. – У Олёны могут быть серьги? И камеша... как его?

– Гонзаго? – то ли спросил всерьез, то ли решил съехидничать Оценщик.

– Не Гонзаго... – поморщился Сальвадор. – А эта... из франкфуртской коллекции...

– Спросите у Олёны.

– У нее мы спросим. А пока спрашиваем у тебя. Ты должен знать, у Олёны ли серьги, и если они у нее, то где она их держит.

– Объясни, почему я должен это знать.

– Оценщик, я стараюсь быть терпеливым. Но твое вранье меня доведет. А ты меня знаешь. Шеф недоволен тобой еще и потому, что ты нарушил договоренность.

– Какую договоренность! – возмутился Оценщик. – Ни о чем мы с этим... твоим... не договаривались.

– После того, как ты продал Олёну моему шефу, – Сальвадор, будто на занятиях дикцией, старательно выговаривал каждое слово, видимо, и впрямь утихомиривал себя, – ты должен был держаться подальше от нее. Но как только последний ее покровитель, мудака этот

страусиный, Хачапуров, отказал ей в средствах, ты возобновил с ней отношения, подыскал ей квартирку в Камергерском переулке и похаживал к ней.

– Ну и что? – сказал Оценщик. – Отчего бы и не поддержать брошенную всеми женщину?

– Поддерживать ее ты мог только трепотней. Ну, цветочками или коробками конфет. Платить за ее квартиру у тебя не хватило бы копеек. Платила она. Значит, деньги у нее были. Откуда? Цапки свои, брюлики свои спускала. Серьги же Тутумлиной вряд ли бы стала продавать или закладывать. Они из тех, ради каких брежневская сука прокалывала уши. А ты делаешь вид, будто не знаешь, что шеф серьги Олёне не подарил, а выдал во временное пользование. Она их не вернула. А они ему сейчас необходимы. Камея-то, хрен с ней, но и ее надо вернуть... Ты шляется к ней, потому что в тебе не утихла страсть. Ты же был романтик! Или хотя бы потому, что считал себя виноватым перед ней – ведь продал ее, за деньги отдал. А она, шлюха рваная и хитрая, могла прикидываться все еще любящей и использовать тебя, а в играх своих и проговориться...

– Я не продавал ее... – прошептал Оценщик. И в собеседниках у него был как будто бы теперь вовсе не мужик в камуфляже, а некое существо, всёобъемлющее и милосердное.

– Это ты мне говоришь! – рассмеялся Сальвадор. И смех его вышел жутковатым.

– Я не продавал ее... Я был вынужден... Я уступил ее... Я сам отошел от нее... понял: она увлеклась другим... он был ей нужнее... иначе бы я по-иному уплатил долг... Она любила другого... В этом все дело! И я уступил... И неизвестно, кому было хуже, ей или мне... Но я не продавал ее!

– Ты продал, продал ее! – вскричал Сальвадор и руки, освобожденные из карманов, вскинул, будто собираясь схватить Оценщика за глотку. Но тут же и опустил их. И сказал уже тихо: – Ты продал ее. И она пошла по рукам. Но эта лживая шлюха и стоила того. За нос она водила не одного тебя. А ты уперся теперь и стараешься уберечь ее от неизбежного...

– Я не продавал ее...

– Заткнись! И не бубни! – сказал Сальвадор. – Я покурю. А ты помолчи. И вспомни, как все было. Может, поведешь себя разумнее...

«Сволочь! – чуть ли не застонал про себя Оценщик. – Сволочь! Желает, чтобы я снова нырнул в дерьмо, о каком смог забыть, желает, чтобы я размяк, разжалобил себя и позволил вытереть о себя ноги. Успокоиться надо, успокоиться...» Возникли в памяти видения их первой с Олёной встречи. Видения эти были оборваны неожиданным для Оценщика соображением. А Сальвадор-то, служака и исполнитель Ловчев, рядом с Олёной – коротышка, был влюблен в нее! Вот тебе раз! Но выходило – именно так! Ярость, с какой Ловчев вскричал о лживой шлюхе, водившей за нос не одного лишь его, Оценщика, можно было объяснить равнодушием Ловчева, по понятиям Олёны – человека пустяшного, к ней. Нынче равнодушие это перегорело в ненависть, возможно, Олёна не только вводила Ловчева в заблуждения, но и унижала его, и теперь он стал для нее опасен...

История Оценщика с Олёной вышла чрезвычайно банальной для тех лет. Он был устроен, при делах. И хотя был воспитан романтиком и рыцарем («Ты же был романтик!» – съехидничал только что Сальвадор), деньги умел добывать самыми разнообразными способами, благо имелись приятели, с чьей помощью и удавалось проворачивать выгодные затеи. Шли грибные дожди, миллионы бумажек, обеспеченных златом, произрастали из земли, их тех же дождей и из воздуха. И было бы глупо жить тютей, печалиться о том, что родился не вовремя, и в латаных портках дожидаться окончания Смуты. Нет, по примеру своих бойких ровесников, не стесненных какими-либо понятиями о стыде и о надписях на скрижалях, людей вполне заурядных, но ушлых, надо было с азартом добывать деньги, а с ними – и независимость. Независимость от всяческих обстоятельств времени. Собственную самодержавность. А потом уж на ее базальтовом основании и служить добродетелям. И Оцен-

щику (прозвище к нему прилепили букинисты и антиквары) фартило. Олёна же явилась из своей Бутурлиновки (или из райцентра со схожим и нищим названием) завоевывать Москву. В каждом поезде в общих вагонах прибывали тогда в златоглавую десятки таких завоевательниц. Они и сейчас торопятся или плетутся в нее. У каждой особые житейские претензии и резоны. Олёна росла в своем городишке первой красавицей и в выпускном классе была возведена на трон уездной королевы красоты. Влиятельные люди зазывали ее в Воронеж, Курск и даже Самару, но какие могут быть Воронежи, Курски и Самары, если есть Москва? Оценщик увидел ее на дне рождения соседа по двору, и были обмены первыми взглядами, и случилось безумие Оценщика. «Помешательство какое-то! – говорил он себе позже. – Наваждение!» Он был веселый и беззаботный ходок. А тут судьба его озаботила. Подарила ему страсть. Первый раз в жизни. Долго казалось, что и в последний. Расписываться с ним Олёна отказалась. Барышня была гордая и щепетильная. На ее взгляд, поход к Мендельсону мог опошлить их любовь, другим бы показалось, что она добывает московские квадратные метры и прописку. Мол, и так хорошо, и он – лучший в ее жизни мужчина. А и впрямь, поначалу все шло хорошо. Связи у Оценщика были, и не без его усердий Олёна поступила в ГИТИС, а потом была представлена Славе Зайцеву и получила от маэстро приглашение участвовать в его показах (рост и внешность позволяли, и ум, добавил Зайцев). Олёна, действительно, была неглупа и остроумна, имела и иные достоинства, некоторые из них, правда, были преувеличены слепотой влюбленного Оценщика. Но вот нетерпения свои Олёна подавить не смогла. Или не захотела.

И вышло так, будто Оценщик одарил ее лишь корытом, а ей, при ее красотах и талантах полагалось уже столбовое дворянство. И сейчас же. Снятая для нее в Чертанове квартира (был жив еще отец Оценщика, и Олёна не захотела жить подселенкой в коммуналке) стала казаться ей жалкой и окраинно-непрестижной. Салона мадам Рекамье устроить там было никак нельзя. И первоначальные протекции Оценщика (ГИТИС, показы у Славы Зайцева) могли принести Олёне удачи лишь при долговременных стараниях. А хотелось, чтобы удачи эти состоялись не завтра, не послезавтра, не через четыре года, а сегодня. Примеры продвижений завоевательниц и охотниц, прибывших из всяческих Ковылкиных и Грязей, были на слуху. Одна из них, любовница олигарха, отправленная им в запас, получила место телеведущей с помесечным поощрением трудов в десятки тысяч долларов. Другая, побывшая женой капиталиста всего полгода, высудила при разводе полмиллиона опять же не рублей и виллу в Сен-Тропе. И так далее. А она, Олёна, была уже не какая-нибудь простушка в степном городке с конкурсной короной на голове, но не золотой, а выделанной из баночной жести. Её признала Москва, и она знала себе цену. Она так считала.

Оценщику же приходилось считать денежные знаки. В минуты холодных мыслей, когда ненадолго рассеивалось марево наваждения, он понимал, что Олёна не только нетерпелива, но капризна и ленива. Однако вблизи Олёны эти мысли исчезали. И Оценщик обещал себе, пусть и рискуя жизнью, пусть и в хождениях по краю пропасти, упования Олёны осуществить. Олёна была для него и Клеопатра, и царица Тамара, и ночи с ней (и дни тоже) он был согласен продлить любой ценой. Потому и затеял два предприятия – одно было связано с антиквариатом, другое – с торговлей книжными учебниками, тогда дефицитом. Прогорел и попал в долги. Был поставлен на счетчик. Бросился к Пашке Суслопарову, бывшему фарцовщику, у которого еще старшеклассником добывал фирменные джинсы, просить об одолжении. Говорили, Пашка одно время был связан с братками, но состояние, по всем правилам нынешней коммерции, сделал на закупке и продаже компьютеров. Пашка, хитрый стервец, лет на пять старше Оценщика, сам некогда ходил у того в должниках, но был прощен и помилован. Он, уже и не Пашка, а Павел Васильевич, катавший на «Мерседесе» с джипом охраны следом, знал, ради чего и ради кого Оценщик суетился. И знал, чем суэта эта закончится. А потому просьбу Оценщика уважил. При этом как бы пошутил: «Безумству храбрых поем мы

песню». Но тут же словно бы и одобрил безумство Оценщика: «Я тебя понимаю. И я тебе завидую. Она – как Шемаханская царица!» Пашкина похвала Олёны вышла сомнительной. Но Пашка-то явно выразил свое восхищение женщиной. Оценщику бы насторожиться. А ему тогда одобрения мужиками его подруги были в радость.

В ослеплении своем он был уверен, что любовь Олёны к нему равноценна его любви к ней, что они единое существо. И что даже в случае его краха, она отправится с ним на буровые вышки Уренгоя, если в том возникнет необходимость. А крах и произошел. Отзвенел будильник, сообщив серьезным людям: срок пришел, должника надобно за нарушение слова пристрелить, прирезать или подвесить за яйца. Оценщик был азартен, но казино объезжал за две версты, теперь же бросился и в казино. Эскалатор невезений потащил его вниз, все, что имел, проиграл вдрызг. Как ни унижительно было снова идти к Суслопарову, пошел. Павел Васильевич выслушал его и сказал спокойно: «Вот что, друг, если не хочешь быть закатанным в асфальт, уступи мне Олёну». «То есть как?» – ошалел Оценщик. «А так. Уступи мне Олёну, и все долги твои будут списаны. Она перейдет ко мне, а ты торгуй учебниками у магазина „Учпедгиз“ на углу Дмитровки и Камергерского, раз ни на что другое не способен». «Она любит меня, – сказал Оценщик. – Она не допустит никакой идиотской сделки! Да и я никому ее не уступлю!» «А вот и спросим ее, – сказал Суслопаров, – допустит она или не допустит». И полчаса не прошло, как Олёна была привезена к дому Суслопарова. «Привезена, – сказал Суслопаров, – а с завтрашнего дня сможет сама разъезжать в собственном „Порше“». Олёна, я предложил твоему другу сделку. Он считает, что ты ее не допустишь. Твое слово». Олёна, в черном, будто в трауре, но прекрасная и в трауре, подошла к Оценщику, опустилась перед ним на корточки (на пол не уселась), гладила его колени, глядела в его глаза карими очами диканьковской красавицы, слезы текли по ее чуть скуластым щекам (ведь готовилась и в актрисы), сказала: «Милый, любовь моя, я грешная женщина, я тебя не стою, мне было хорошо с тобой, но в бедности я жить не могу. Я могу остаться с тобой, но я не хочу быть тебе обузой, не хочу, чтобы ты стал из-за меня неудачником, и уж тем более не хочу, чтобы ты погиб из-за меня...» Оценщик вскочил, хлопнул дверью, долго шлялся по городу... Утром явился к Суслопарову, произнес мрачно: «Я согласен на твои условия. Она не любит меня. Кроме неудач я ей ничего не дам». «Подпиши бумагу», – сказал Суслопаров. В бумаге утверждалось, что в связи с тем, что господин Н. (Оценщик. В разговоре на Тверском бульваре исполнитель Сальвадор только так именовал человека в кепке – по чину полагалось. И автор фамилию его пока не называет. А может, и вовсе не назовет. Из-за наивной корысти приманить читателя пусть и призраком тайны. А возможно, и по иной причине. И не исключено, что человек в кепке перестанет быть участником предлагаемой автором истории. Пусть он так и остается Оценщиком) передает под покровительство господина Суслопарова П.В., свою гражданскую жену госпожу О., долги господина Н. признаются выплаченными одновременно и полностью. «Не думай, что я издеваюсь над тобой, – сказал Суслопаров. – Это каприз Олёны. Ей зачем-то нужна такая бумага». И Оценщик со злостью (на себя, на себя!) подписал документ. «И прекрасно! – сказал Суслопаров. – Сделка состоялась. Продажа и покупка совершены. И – это уже моя просьба, и не просьба даже, а условие – держись подальше от Олёны, иначе...» «Что иначе?! – вскричал Оценщик. – Да на кой мне нужна твоя Олёна!» И матерно выругался.

Страсть его преобразовалась в неистовство. Впрочем, не надолго. Черная черта была проведена в его жизни. Черный предел. Крах не только в деловых предприятиях, но в первую очередь в истории с Олёной смял, раздавил его. Она предала его. Но и он продал ее. Однако предала ли? Стало быть, и не любила, а лишь искала московских выгод, поняла, что выгоды эти следует добывать с более удачливыми кавалерами и предпочла Суслопарова. Бизнес и в любви есть бизнес. И он, сберегая жизнь, согласился на сделку. Все оправданно и целесообразно. И надо успокоиться.

Но успокоиться не мог. Тянуло его видеть Олёну каждый день, хоть бы уголком глаза, хоть бы издалека. Но не удавалось. И к лучшему. Время и отдаление от Олёны стало остужать его страсть. Знал же он о ней все. Долгое время она процветала. Суслопаров демонстрировал ее публике и был доволен своим приобретением. Прикупил домишко в Марабеле на испанском берегу, напротив Танжера. Олёна по-лягушачьи плавала там в теплых течениях и прогуливалась на яхте. Драгоценности её поражали аборигенов, владевших и семейными замками. Но провести её в столбовые дворянки не смог даже и Суслопаров. То есть он мог купить ей любой титул. Хоть герцогини, хоть принцессы, может, княжества, а может и северной конституционной монархии. А уж произвести ее в какую-нибудь баронессу фон было проще простого (что он и кураже и сделал). Но толку-то что? Что толку? В отечестве-то родном он даже и при всех своих цветных и редких металлах, при десятке прикормленных депутатов, но с корявым прошлым, в светский круг принят не был. Ему-то ладно, перенес бы. Но и к Олёне, в документах теперь – баронессе фон Кайзерслаутерн, явившейся однажды в Английский клуб (за членство внесено пять тысяч в вашингтонах) с фамильной диадемой в роскошных волосах, прочими драгоценностями, в нарядах от Лагерфельда, было проявлено высокомерие и пренебрежение. То есть было высказано молчаливое: «Пошли вон!» Все это повторилось и на Венском балу в Гостином дворе. И начались капризы Олёны, обиды, скандалы. И главное, она не знала, чего хотела. Суслопарову (и его унизили) она надоела, стала противна, и он проиграл ее в покер виноторговцу Каляеву, отчего-то имевшему среди своих прозвище «Гончий пес». И с Гончим Псом она поначалу играла в ладушки, но потом своими капризами дала виноторговцу повод напомнить ей, что она не подруга жизни, а фифа картежная, и всяких блядей ему хватает в саунах и на рыбалке. Далее она переходила от покровителя к покровителю, после Гончего Пса их было пятеро. Кто-то ее перекупал, кто-то на время принимал в свою загородную обитель из любопытства и для пополнения впечатлений. Все же баба она была благородно-красивая, а в эротических упражнениях – умелая и бесстыжая. Но в разговорах мужиков она оставалась баронессой фон Саманезнаетчехочет. Один из ее кормильцев возжелал произвести ее в шоу-звезду (нравилось ее томное пение под гитару при свечах и с бокалом красного вина на столике), и чтобы копейки с того потекли, определил ее в Гнесинку, она вдруг распелась, продюсеры возникли вблизи нее, но она взяла и заскучала. Устававшему после трудов несправедливых ресторатору Чуйкину она портила настроение сварами с уборщицами, горничной и водителем. И даже с домашними животными. «Барыня крыжопольская!» – ворчала горничная. Горбоносый повелитель из приэльбрусья произвел ее в Шахерезады, по причине женской сладости имя наложницы изменил и называл ее Сахарозадой, но провести тысячу и одну ночь они не смогли. Последним её хозяином был архитектор Хачапуров. Дела повлекли его в Калмыкию возводить страусиные фермы и монументы, он потребовал сопровождать его в Элисту, но стать подружкой степей Олёна не пожелала. Горячий человек раскричался и выставил Олёну с чемоданами её шмоток на лестничную площадку. Бездомная, она вспомнила про Оценщика, и он, не вступая с Олёной в душевные разговоры, подыскал ей квартиру в Камергерском переулке, во флигеле.

Деньги у нее были. Урвала, накопила. К тому же состоялся съезд бывших обладателей Олёниных прелестей. Или съезд потребителей, не важно. Но именно съезд. Не пешком же они прибыли к ресторану «Пушкин». Не явились на съезд имевший претензии к Олёне Суслопаров и отбывший к страусам Хачапуров. Остальные же, узнав о ее бедствиях, Олёну пожалели. Запомнилась она им не одними лишь капризами. И каждый из них согласился выдавать Олёне ежегодную стипендию. Стало быть, из содержанок Олёна превратилась в стипендиатку. Баронессой она осталась. В новом паспорте к ее уездной фамилии было добавлено: фон Кайзерслаутерн.

Поддерживать отношения с Олёной Оценщик не собирался. И из-за обиды на нее. И из-за того, что при каждой встрече с ней неминуемы были воспоминания о собственном житейском крахе. Но зааживал к ней, зааживал. Тянуло. И именно с цветочками, с коробками конфет «А. Коркунов» или «Шармель», а порой и с напитками. Олёна была уже не та. Оплыла, одомашнилась, что ли, встречала его иногда и неряшливой. Но Оценщик понимал, что натура у нее не утихла, и рано или поздно Олёна затеет новый полет к звездам. И средства у нее на это есть. Следовали намеки, какие. Лучше бы их Оценщик не слышал. Лесть и нежности Олёны не могли его обмануть, в ее затее ему была уготована роль разгоночной ракеты, и не ракеты даже, а её ступени, третьей или пятой. Из тех, что обречены отвалиться и сгореть в атмосфере. Пока во всяком случае она ластилась к нему и, женщина ощутимо оголодавшая, не прочь была оставить его при себе на ночь. Но Оценщик был омерзительно стоек, говорил Олёне, что он не способен более на любовные подвиги, жизнь отучила, что он нынче затворник, аскет, умиряющий или уже умиравший плоть. «Зачем же ты ходишь ко мне?» – однажды искренне удивилась Олёна. «Жалею, – сказал Оценщик. – Жалею тебя. Жалею себя. Жалею свою жизнь...»

– Ну что, Оценщик, просмотрел свою мыльную оперу? – услышал он.

Он сидел на Тверском бульваре на желтой скамейке в сухой безветренный день. Рядом ухмылялся мужик в камуфляже и кирзовых сапогах. Старательный исполнитель Сальвадор-Ловчев.

– Ну и как? – спросил Сальвадор. – Будешь и дальше артачиться? Или как?

– Я не понимаю, – сказал Оценщик, – смысла вашего обращения ко мне.

– Не обращения, а требования, – сказал Сальвадор. – Я тебя вразумлю. Олёну шеф запретил, мягко сказать, трогать. И дело не в его лирических воспоминаниях, а в том, что шеф стал набожным. Церковь поставил у себя за забором. Пожертвования производит. Орден у него на цепи. Следует заповедям, – в словах Сальвадора Оценщик уловил усмешку, вполне объяснимую. – Люди же при нем служат из тех, кому никакие грехи не страшны. Они им в радость. И они неуравновешенные. И если ты хочешь Олёну уберечь, убереги ее.

– Каким образом? – спросил Оценщик.

– Не нужны поводы расспрашивать Олёну с воздействиями... Так скажем.

– То есть – пытаться?

– Понимай, как понимаешь.

– Никакие ваши требования выполнять я не буду! – с раздражением произнес Оценщик. Сальвадор и его слова вызывали в нем протесты и желание дерзить.

– Оценщик, – Сальвадор опять выговаривал слова, будто совершенствуя дикцию, – ты смотрел хотя бы первую серию фильма под названием «Место встречи...»? Смотрел... В этой серии на лавочке остается сидеть человек в кепке, вызванный МУРом из Ярославля. Остается сидеть бездыханным... Сейчас я произведу движение и точно таким человеком станешь ты. Ты меня знаешь. Я не шучу.

– Что вам от меня надо? – выговорил Оценщик.

– Малости. Сказать нам, где Олёна держит серьги Тутумлиной, есть ли у нее тайник и если есть, где он.

– Серьги, по всей вероятности, она не сбыла. Но где они, она не посчитала нужным мне открыть. Тайник у нее есть, проговорила, но где он – в квартире или в ином месте, мне тоже неизвестно. Я ни о чем не умалчиваю...

– Верю, – сказал Сальвадор. – С паршивой овцы хоть шерсти...

– И все? – спросил Оценщик.

– И второе, – сказал Сальвадор. – Раз не знаешь, где тайник, узнай. Убеди эту шлюху, эту суку продажную в том, что ее положение серьезное. Что ей выгоднее серьги вернуть и все свои секреты открыть шефу. Иначе ей будет плохо.

– Попробую, – сказал Оценщик. – Но вряд ли выйдет толк...

– А ты уж постарайся! – приказал Сальвадор. – И про себя подумай!

Сальвадор снова вызвал ненависть Оценщика и желание дерзить.

– Слушать она меня не будет, – сказал он. – Она – сама по себе! Я сам по себе!

– Ясно, – вздохнул Сальвадор. – Разговор с тобой, выходит, был почти напрасный. Но с паршивой овцы хоть клочок... Ладно. Не поминай лихом. Все.

Сальвадор ткнул Оценщика в бок, встал и неспешно направился в сторону подземного перехода.

Оценщик остался сидеть. Козырек кепки по-прежнему прикрывал кончик его носа. На скамейку к нему никто не присаживался. У прохожих он не вызывал ни воробьиного интереса. И если бы даже гипотетический наблюдатель попробовал со вниманием рассмотреть человека в кепке, он вряд ли бы понял, дремлет ли тот, размышляет, отделившись от суеты света. Или он уже не способен ни дремать, ни размышлять.

4

Но в те дни уже пробуравило сознание многих: скоро, очень скоро закусочную закроют. Будто бы она общепитовский анахронизм. Напротив, в помещениях некогда лелеемого властями магазина Политической книги (первоисточники, избранные статьи и речи Суслова, иных стратегов и мыслителей, общественные наставления и пр.), заалел призывными огнями ресторан «Древний Китай», а под огнями зазеленели изломами будто бы крыши фанзы. Ежевечерне ресторан был пуст, как и недалее от него «Артистико», некогда шумное и достойное посещений кафе. Как уж тут было устоять закусочной, в нее уже упирался псевдо-ностальгический ресторан «Оранжевый галстук» с кружкой пива за сто двадцать рублей и несворачиваемостью звуков группы «Браво».

Прокопьев, естественно, не мог не опечалиться. Что ему теперь было размышлять о непутевой девице Нине, чьей-то секретарше либо конторщице, если возникла опасность изведения камергерской солянки.

Конечно, не один Прокопьев опечалился. И меня предстоящее закрытие закусочной не обрадовало. Помимо всего прочего я опять ощущал себя винтиком. За меня принимали решения декоративный рабочий Шандыбин (уже тогда вошло в поговорку: «Умен, как Шандыбин») и декоративный крестьянин Харитонов. Этих бы удрученных народными заботами бессеребренников снабдить серпом и молотом и отпустить постоять на свежем воздухе взамен утомившемуся мухинскому творению. Но названные двое и иже с ними пеклись обо мне на государственном уровне. Теперь, в случае с закусочной, дяди и тети с кошельками намерены были показать мне, кто и в моей повседневности хозяин. Впрочем, о моем существовании они и знать не знали. В их расчетах я входил в общую толпу способных принести выгоду.

Хотя, конечно, надо было дожидаться решительного закрытия дверей закусочной, а уж тогда печалиться. Но мы до того привыкли пребывать в ожиданиях неприятностей и перемен к худшему (вроде бы возникло нечто полуустойчивое, но не верим в него, вот-вот упадут цены на нефть и нате вам – обвалы, дефолт, сухие лепешки), что для нас главным становится и не жизнь, а именно ожидание неприятностей. Или нелепиц и невероятных поворотов судеб. И поэтому естественным показалось в закусочной заявление уже знакомого Прокопьеву местного частного извозчика, водилы-бомбилы родом из Касимова, Василия Фонарева.

Васек, а день был холодный, с ледком на тротуарах, опять явился в майке и шлепанцах на босые ноги. Он заказал сто пятьдесят граммов водки с кружкой пива и весело направился к столику Прокопьева.

- Васек, а деньги? – брошено было ему в спину кассиршей Людой.
- Какие, Людмила Васильевна, деньги? – удивился Васек.
- То есть как, какие деньги?
- Да вы что! Денег теперь нет. Их отменили.
- Когда отменили?
- Сегодня утром.
- Все деньги?
- Не знаю, как в других странах. А у нас – все.
- От кого ты слышал?
- По телевизору объявили. Ровно в двенадцать.
- Ты сам слышал?
- Мне-то зачем? Полковник слышала. Сначала заплакала. Потом обрадовалась. Стерва!
- К вам опять, что ли, гуманоиды прилетали?

– Нет, не прилетали. Уже неделю как не прилетали. Совсем обнаглели. Башки бы им поотрывать! Вот полковник от расстройства и послала меня в «Красные двери» за бутылём.

– И деньги тебе дала?

– Какие деньги! – возмутился Васек. – Я же вам объясняю: деньги отменили. Вы, Людмила Васильевна, сегодня какая-то бестолковая. И зря вы сидите сейчас за кассой. Нет денег. Нет касс. И нет кассирш.

– Нет, Васек, погоди... – кассирша Люда и впрямь растерялась. – Последите за кассой (это – к Прокопьеву), я сейчас переговорю с администрацией...

Возвращения Люды Васек дожидаться не стал, а освободив от жидкостей кружку и стакан, ринулся, по всей вероятности, в магазин «Красные двери» выполнять указание стервы-полковника. Позволил себе лишь бросить Прокопьеву:

– Банка воды из Касимова за мной. А как же? Трехлитровая.

Беседа кассирши Люды с администрацией вышла долгой, возможно, со справочными звонками кому-то, из кухни кассирша выскочила в возбуждении.

– Где Васек-то? Где этот жулик? Деньги, видите ли, отменили! Сейчас мы его отловим, грабителя!

Она пронеслась мимо столиков, вырвалась на просторы Камергерского, разнесенному в клочья должно было стать частному извозчику Василию Фонареву, обижаемому гуманоидами! Однако опоздала Людмила Васильевна, опоздала! Не был ею отловлен шустрый нынче касимовский уроженец.

– И их облапошил Васек-то! – возмущалась, но при этом и радовалась Людмила Васильевна. – Попросил дать ему бутылку водки, мол, посмотреть, какого завода, не осетинского ли, потом объявил, что деньги отменены с полвторого и утек. А в «Красных дверях» все рты пооткрывали и будто в полы вмерзли. Вот ведь жулик! Вот ведь молодец отчаянный! Но ничего! Я его достану! Я его обнаружу! Я знаю, где его форточка! Я на него еще трех гуманоидов натравлю! Вот с такими ниппелями!

Следом в закуской появились актер Николай Симбирцев, Прокопьев уже знал его фамилию, и первейший знаток прекрасного Александр Михайлович Мельников. Опять без церемоний они присели за столик Прокопьева. Об отмене денег они явно не слышали и к радости Люды оплатили выпивку и бутерброды. Кивнув Прокопьеву как несущественно знакомому, они продолжили разговор, возникший, видимо, по дороге в закускую.

– Врешь ты, Шурик, врешь! – радостно говорил Симбирцев, поднесший ко рту рюмку коньяка. – Все ты знаешь, а кто такой Пуговицын не знаешь. И никогда не знал. Хотя и совал рожу в книги.

– Фу! Как ты неблагородно говоришь! – возмутился Мельников. – Ну груби мне, груби! Ничего не изменится! Конечно, я хорошо знаю Мишу Пуговкина...

– Да не Пуговкина! А Пуговицына!

– Какого такого Пуговицына?

– Значит, ты плохо читал Гоголя.

– Николай Васильевич мне как отец! – программно заявил Мельников. – Я знаю его наизусть!

– Значит, не знаешь.

– Знаю, знаю, – Мельников капризно и как бы даже устало взмахнул рукой. – Успокойся. Кого кого, а уж Николая Васильевича...

– Хорошо, – сказал Симбирцев. – Ответь на вопрос кроссворда. Персонаж комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Девять букв. Первая «п», последняя «н».

– Мало ли какие идиоты составляли твой кроссворд! – поморщился Мельников.

– Не важно какие, – сказал Симбирцев. – Я открыл томик Гоголя и нашел в «Ревизоре» Пуговицына.

– И кто же этот Пуговицын? – Мельников, похоже, был удивлен искренне.

– Выскажи предположения...

– Наверное, кто-то из купцов с приношениями...

– Полицейский! – объявил Симбирцев. – Полицейский. Один из трех. Держиморда, Свистунов и Пуговицын. Квартальный. Но в отличие от Держиморды и Свистунова слов не произносит, а вместе с десятскими подчищает тротуар.

– Ну конечно же! – Мельников вскочил, вызвав недоумение в зале. – Я ведь перед тобой дурака разыгрывал! Ваньку валял! Будто я не знаю, кто такой Пуговицын! Я, когда ставил «Ревизора» в Твери... да, в Твери... Пуговицына сделал главным героем. Я ведь понял замысел автора. Понял! И он, Николай Васильевич, потом являлся ко мне в сны и мои догадки подтвердил. «Молодец, Шура, молодец! – по плечу меня похлопал. – Никто, Шура, не разгадал мой потайной замысел, а ты разгадал! Докумекал!» А как же? Главная сцена в «Ревизоре» – немая. И главный герой с объявленной фамилией Пуговицын – немой! Тротуар подчищает, да еще и с десятскими, для отвлечения смысла.

– Какой репримант неожиданный! – рассмеялся Симбирцев.

– Что ты имеешь в виду? – присев, поинтересовался Мельников.

– Это не я имею в виду, а одна из дам в «Ревизоре». Как раз перед немой сценой.

– Опять ты шутики шутишь! – обиделся Мельников. – Просто ты не можешь понять силу, нет, мощь моего замысла.

– Да видел я твой тверской спектакль! – сказал Симбирцев. – И не было в нем никакого немого квартального Пуговицына!

– Не было! Конечно, не было! – согласился Мельников. – Меня этот стервец Меньшиков подвел, Олег. Зазнался. Нос задрал. В Тверь не поехал.

– Да что он у тебя делал-то бы?

– Как что! Как что! – воскликнул Мельников. – Его немой Пуговицын присутствовал бы во всех сценах, и именно все сцены от того вышли бы столь же значительными, как и знаменитая финальная.

– По-моему, ты все это теперь придумываешь, – в задумчивости произнес Симбирцев. – А прежде ты ни про какого Пуговицына не ведал и не думал.

– А хоть бы и теперь! – все более воодушевлялся Мельников. – Осознай, какое смелое решение! Никому в голову такое не приходило. Даже Мейерхольду! Только мне. Ну и еще, конечно, самому Николаю Васильевичу. Конечно, и ему тоже. Послушаем Прокопьева, пружинных дел мастера. Прокопьев, Сергей...

– Да просто Сергей! – вздрогнул Прокопьев. Произнесение звуков далось ему нелегко, он ощущал себя онемевшим персонажем.

– Вот, вот! Что вы-то скажете о значении в «Ревизоре» немого квартального?

– Я... Я и не думал... – растерянно заговорил Прокопьев. – Я и не помню, что Пуговицын есть в «Ревизоре»... Но по-моему вы, Александр Михайлович, все очень убедительно разъяснили...

– Вот, Николай, вот! Простой-то человек как все чувствует! Ты – смеешься, а он – понимает! – Мельников разулыбался, он, похоже, гордился теперь Прокопьевым, будто достойным своим адептом. – Мастер – золотые руки! Кстати, а как обстоят дела с моим диваном и креслами? Я ведь звонил вам...

– Вы звонили, – кивнул Прокопьев. – Мы договорились, что я зайду к вам вечером в среду. Я заходил. Но дверь мне не открыли.

– В доме была одна собака, – вспомнил Мельников.

– Она мне не открыла...

– И правильно сделала! – одобрил собаку Мельников. – А то пришлось бы и в вас исправлять пружины!

– Но ведь мы с вами договаривались, – произнес Прокопьев почти резко.

– Да! Да! – героем «Разбойников» Шиллера принялся вышвыривать из себя слова Мельников, укор Прокопьева явно не понравился ему. – Да, я просил вас оказать услугу! Но в среду вечером тени мастеров прошлого заставили меня отвлечься от ваших пружин!

И рука Мельникова словно бы отбросила от себя диванные пружины.

– Хорошо, будем считать – моих пружин, – сказал Прокопьев.

– Шура! – возликовал Симбирцев. – Ты как птица скопа над речным простором. Паришь в небесах над людьми!

– Ты бестолочь и пошляк, Николай! – воскликнул Мельников. – Ты ввел меня в раздражение Пуговицыным, а теперь изводишь пружинами! Я не могу... Тебе стоит швырнуть в лицо перчатку с вызовом!

Мельников вскочил и понесся из закуской. Симбирцев рассмеялся, произвел рукой некое движение, как бы одобряющее Прокопьева и его пребывание на Земле, и степенно последовал за попечителем Теней.

– А не вызовет ли он его теперь на дуэль? – тихо сказал Прокопьев, ни к кому не обращаясь. – Из-за Пуговицына и моих пружин...

– Кто кого? – удивилась кассирша Люда.

– Мельников Симбирцева...

– Ой! Ой! – воскликнула Люда, но чувствовалось, что соображение о дуэли вызвало в ней радость. – Для них же деньги не отменили! Какие могут быть между ними дуэли? Это Васек Касимовский норовит перебить гуманоидов. Я ему устрою! Каков! Кафе и без кассирш! Ну ладно, без денег! Но как же без кассирш-то? Водила отчаянный!

А в закусочную тем временем вошел знакомый Прокопьеву Арсений Линикк, объявивший себя днями назад печальным Гномом Телеграфа.

– Сенечка к нам пожаловал! – обрадовалась Люда. – Душка ты наш!

Прокопьев уважал людей обязательных, сам старался держать слово, а потому действия достопочтенного Александра Михайловича Мельникова породили в нем недоумения. Впрочем, ему ли судить о загадках натур из поднебесий искусства? Но то, что он уже не пойдет починять диван и два кресла, обитые кожей, он постановил. Даже если Александр Михайлович извинится перед ним и станет рассыпать бисер, он в его дом не пойдет. Деньги? Ну и что деньги? Митя Шухов, тот, в нынешнем случае и виду не подал бы, взялся бы возрождать диван с креслами, но вряд ли владелец мебели получал бы потом от нее удовольствия и комфорт.

– Я присяду рядом с вами? – спросил Линикк.

– Конечно, конечно! – сказал Прокопьев, – О чем речь!

Закуской к водке Линикком был выбран бутерброд с красной икрой.

– Это я теперь такой маленький, – объявил Линикк, – а еще совсем недавно я был девяносто метров в длину, двадцать в ширину и восемь в высоту...

Прокопьев все еще был в соображениях о дискуссии Мельникова с актером Симбирцевым (высокомерие Мельникова к ремеслу пружинных дел мастера его уже не знобило, дело определилось и рассеялось). Но неужто приятели и впрямь могут затеять дуэль или просто разругаться, продолжал гадать Прокопьев, и оттого слова Линикка о каких-то метрах в высоту и длину всерьез воспринять он не смог. Но Линикк будто бы ждал сострадания, и Прокопьев пожелал возразить.

– Какой же вы маленький! Ну, по нынешним временам рост у вас небольшой. Метр шестьдесят три, на взгляд. Но в плечах и в теле вы – атлет. На Олимпиаде в штанге вы все медали могли бы отнять у турок. И усы у вас гренадерские.

Линикк слов Прокопьева вроде бы не расслышал, вздохнул, отпил водки, укусил бутерброд и, помолчав, спросил:

– Вы хотите знать, где теперь Нина и что с ней?

– Какая Нина? – Прокопьев чуть ли не испугался. – И зачем мне знать о какой-то Нине?

Линикк с минуту внимательно смотрел в глаза Прокопьева.

– А что вы так волнуетесь? – сказал Линикк. – Если вы не помните о какой-либо Нине и ничего не хотите о ней знать, стоит ли вам волноваться?

– Я и не волнуюсь... – стал утихать Прокопьев. – Нисколько не волнуюсь...

«Нет, надо положить конец походам в Камергерский, – повелел себе Прокопьев. – Нелепости одна за другой. Деньги отменили. Мельников отчитал, будто я виноват в его затруднениях. Теперь Нина фантомная... Конечно, солянки здесь хороши, но ведь и в иных местах они, наверное, есть...»

– От пола до потолка здесь сколько метров? – спросил Линикк.

– Метров пять... – предположил Прокопьев. – Да, пять метров.

– Вот, – сказал Линикк. – А каким существовал я? Десяносто метров на двадцать и восемь в ширину!

– Какие же у вас тогда были усы? – удивился Прокопьев.

– А-а-а! – махнул рукой Линикк. – Какие полагались. И все нутро мое завезли из Германии. Поверженной. В сорок восьмом. Прошлого века. Потом, понятно, заменили многое. А теперь у нас хозяева – паучки из сети-паутины. Меня же расписали в Гномы...

«Ну ладно... – успокаивался Прокопьев. – Я-то забоялся, что он меня в тяготы Нины, той, разревевшейся, с дурной прической, пожелает втравить и действий потребует, а у него, похоже, здравого смысла в голове и на три гроша нет...»

– У меня иные представления о гномах, – не смог все же удержаться Прокопьев.

– Ваши представления, – сказал Линикк, – ничего не изменят.

– Мое существование в мире, – вздохнул Прокопьев, – вообще ничего не может изменить.

– Вот это вы напрасно, – покачал головой Линикк. – Это как сказать. Вы о многом не знаете. А кое-что от вас может зависеть не только в мебели, но и в судьбах иных людей. Да.

«Сейчас он опять начнет подсовывать мне Нину нечесанную», – возмутился Прокопьев.

– И что же на телеграфе нашем Центральном вы так и числитесь Гномом? – съехидничал Прокопьев. – Об окладе гнома я не спрашиваю из соображений приличия...

– Отчего же... – Арсений Линикк будто бы смутился, усы его углами потекли вниз, – отчего же... В штатном расписании я числюсь инженером по технике безопасности... Надзираю над кабельным хозяйством... оклад соответственный...

– Простите за бестактность, – сказал Прокопьев, – я ощущаю, что вы проявляете ко мне некий интерес. Или я ошибаюсь?

– Нет, не ошибаетесь.

– И в чем же ваш интерес?

– Вы жертвенное существо, – произнес Линикк, как показалось Прокопьеву, торжественно и печально. – Но вы в этой истории – не главный. Главные в нем – другие...

– Вы сейчас – гном или этот... по технике безопасности? – спросил Прокопьев.

– Именно этот... по технике безопасности! – захохотал вдруг Арсений Линикк.

Он выглядел сейчас весельчаком, шляхтичем с кубком на попойке у пана Вишневецкого, но Прокопьеву стало не по себе.

– А ты, Сенечка, опять про своих кобелей заливаешь, – заметила долго молчавшая кассирша Люда.

– Ну, вот вы снова, Людмила Васильевна, надо мной насмешничаете! – всплеснул руками Линикк. – У меня в хозяйстве кабели, кабели, а не собаки! До слез обидно, Людмила Васильевна, до слез!

Однако никакие жидкости усы Арсения Линикка не омочили.

– А тебя, Сенечка, днем Тоня спрашивала, – объявила кассирша.

Линикк вскочил.

– Чур меня! Чур! Что же вы меня раньше-то не предупредили! Бежать, бежать!

И явно испуганный Линикк, переставляя ноги по утиному, унес из закуской свое основательное тело.

– Вот трепач-то! – рассмеялась кассирша. – Он теперь еще и Гном Телеграфа!

– А разве не гном?.. – будто бы и не кассирше, а к самому себе обращаясь, произнес Прокопьев.

– Какой же он гном! – хохотала кассирша. – Сколько лет его знаю, и Пилсудским был, и Маннергеймом, но гномом никогда!

Однако Прокопьеву было не до смеха. Его била дрожь. «Вы жертвенное существо, – звучало в нем, – вы жертвенное существо...» Он пытался образумить себя, признать Арсения Линикка личностью несерьезной, мягко сказать, а то и ущербной и уж, конечно, по версии кассирши Люды, трепачом. Но что это меняло? Пусть даже вечернее явление некоей Тони могло сокрушить дух Гнома Телеграфа или погоняльщика энергий по медным нитям. Ущербные и блаженные умели предрекать... Кто же определил его, Прокопьева, в жертвенные существа? И за какие такие свойства натуры? Причем ведь не в жертвенного человека, а именно в существо. В барана, что ли, коему суждено рухнуть в день сабантуя? Или в агнца, еще не откормленного и невинного? За что ему такая участь? Но ведь история с агнцем – история символическая, в символ чего могли произвести его, Прокопьева Сергея Максимовича, и что нынешней жертвой намерены были искупить, уберечь или спасти? Или кого улестить? Никакие разумные разъяснения в голову Прокопьеву не приходили...

– Да что это вы, – обеспокоилась кассирша Люда, – Сергей...

– Максимович, – подсказал Прокопьев.

– Сергей Максимович, что это вы так разволновались-то? Сенечка наш не только трепач и запуган подругой Тоней, у него еще и сотрясение было.

– Сотрясения у всех были, – стараясь не выказать дрожь, выговорил Прокопьев.

– И у вас сотрясение было? – удивилась Люда. – Ой! Ой!

– Я не про мозги, Людмила Васильевна, – мрачно сказал Прокопьев, – я про иные сотрясения...

– Ну, те-то сотрясения всем известны, – уточнение Прокопьева вроде бы кассиршу разочаровало. – Те-то что! А вот Сенечка головой падал на камни, не нарочно, конечно, но с кровью... А вы, ишь, как взъерошились! Вы лучше еще солянку закажите. А к ней и сто граммов.

– Солянку, пожалуй, отложим, – сказал Прокопьев. – А вот сто граммов, Дарьюшка, будьте добры, налейте.

Дарьюшкой Прокопьев (отчасти смущаясь – слащавости, что ли, своей или даже угодливости) назвал двадцатитрехлетнюю буфетчицу, гарную хохлушку из-под Херсона, нашедшую приют у родственников в Долбне. Дома ее окликали Одаркой, да и в Камергерском она ощущала себя Одаркой, однако для Прокопьева, знакомого с комической оперой Гулак-Артемовского, Одарка была дородной и скандальной бабищей, проживавшей за Дунаем, и иной осуществиться не могла.

Сто граммов дрожь Прокопьева отменили, но усатую рожу Арсения Линикка из его соображений не вывели. «И не главный я в этой истории, – вспоминал Прокопьев. – Да и отчего же мне быть главным, я всегда семистепенный... Главные – короли, ферзи, ладьи, а я пешка... Но принесение в жертву пешки – дело пустяшное... Неужели Линикк имел в виду шахматную партию? Вряд ли...» Шахматами Прокопьев не увлекался, а потому мысль о ферзях и пешках продолжения не получила.

А внимание кассирши Люды, как и буфетчицы Дарьюшки (позже Прокопьев называл ее Дашей), было уже занято явлением шумной дамы с двумя раздутыми сумками. Дама была коммивояжеркой, хорошо знакомой в закуской, привычнее говоря, толкачом-коробейником ходового товара. Она и ее сотоварки обслуживали в округе служительниц продуктовых магазинов и всяких, по их мнению, забегаловок. Производили они впечатление продувных бестий, в отличие, скажем, от хрустальщиц. Те предлагали свои хрустали и фарфоры не то чтобы смущаясь, а словно бы стыдясь всего мира. Им на заводах в дни расплат вместо денег выдавали изделия, и приходилось путешествовать в столицу в надежде на щедрости москвичей. Сегодняшней коробейнице стесняться было нечего. Сумку свою она набила халатами, юбками, колготами, бельем и прочими дамскими радостями. Сейчас же за буфетной стойкой и на кухне начались смотрины товаров, примерки, с восторгами, вздохами, шлепками, нервными похихикиваниями, будто бы вызванными щекотаниями. Понятно, что к поварихам и уборщицам не могли не присоединиться буфетчица и кассирша. «Сергей Максимович, за кассой приглядите», – было брошено благонадежному посетителю. Увы, увя, фейерверк жизни не состоялся нынче для Людмилы Васильевны. Ничто – ни шелковое, ни хлопчатобумажное, ни льняное, ни из искусственных волокон не оказалось безупречно приложимым к ее телу.

– Да, Тонечка, ты уж извини, – говорила Люда коробейнице, вернувшись к кассе, – я бы взяла, но слишком низко приталено и цветочки идут чересчур наискосок.

– Да чего извиняться-то! – весело отвечала ей коробейница, сумки ее чуть-чуть похудели. – Заказ твой я поняла. Во вторник твоя смена? Во вторник я тебе и принесу.

– Была бы баба ранена! – прозвучало в углу закуской, близком к окну.

Над столиком со стаканом в руке воздвигся свирепый мужчина, седой, лет шестидесяти пяти, не частый, но заметный посетитель закуской, объявлявший себя то летчиком-испытателем, то следователем по особогосударственным значениям. Может где-то он и летал или что-то выпытывал, но здесь он чаще проявлял себя горлопаном и бузотером.

– Была бы баба ранена! – прозвучало вновь, но уже как бы усиленное рупором.

За столиком оратора сидели крепкие мужчины, с лицами и повадками ответственных работников, то ли бывших, то ли удержавшихся.

– Но шел мужик с бараниной. И дал понять ей вовремя! – продолжал громобой. И заключил: – Так давайте выпьем за мужика с бараниной!

Соседи громобоя сейчас же вскочили и с возгласами одобрения чествовали звоном стаканов мужика, спасшего от паровоза рассеянную бабу.

– Николай Федорович, – оживилась кассирша Люда, – а где вы берете баранину? В нашем районе что-то она пропала...

– Людмила Васильевна, Людмила Васильевна, – сокрушенно покачал головой Николай Федорович. – Это же Маяковский, облачный в штанах. Плохо вы изучали в школе пролетарскую литературу!

– Я ее и вовсе не изучала...

– Людмила Васильевна... – осторожно начал Прокопьев, – коробейница... Тоня... Она и есть... подруга... ну... Линикка с Телеграфа?

– Да что вы, Сергей Максимович, – удивилась кассирша. – Та совсем другая.

– Но она собиралась придти вечером...

– Я Сеньку пугала! Вовсе она не собиралась. Что вы никак не можете забыть сенечкину блажь. Забудьте...

«Как же, – грустно подумал Прокопьев, – забудьте... Дурь какая! Что нашло на меня?..»

– Была бы баба ранена! – вновь прогремело в закуской.

5

В те дни у сантехника РЭУ № 6, что в Брюсовом переулочке, Соломатина Андрея Антоновича, случилось некое приобретение. Вызов был из восьмого дома по Средне-Кисловскому переулочку. Дом стоял на задах Консерватории. Соломатин, несмотря на малый срок службы коммунальщиком, успел его узнать. Строили дом, по тем временам – уважительного вида, в пять этажей, для профессорского состава детища Рубинштейна. Капитальный ремонт затевали в нем в тридцатые годы, позже усовершенствования были в нем эпизодические, и понятно, что нутро дома, особенно ведавшее перетеканием вод и других жидкостей, было дряхлое и больное. Поначалу квартиры устроили в доме истинно профессорские, да еще и с залами для инструментов, но в пору исторических воронок происходили здесь уплотнения. Случившиеся позже разуплотнения прежнюю натуру дому, однако, не вернули. Хотя и теперь проживали в нем консерваторские служители и просто музыканты, близость к Кремлю приманивала к зданию и благополучных господ, ценящих исторически-оправданное месторасположение Кисловской слободы. Солений на царский стол они, правда, не заготавливали, но позволяли себе закусить виски и текилы кадушечным огурцом.

Вызов был простой. Третий этаж (еврованна, хозяин с фабриками, по слухам, и клюквенный король, родом с Вологодчины) протек на второй этаж и на первый. Основательно протек.

На вызов Соломатин отправился в паре с Павлом Степановичем Каморзиным. Для дяди Паши Каморзина Соломатин поначалу был вовсе и не напарник, а так, ученичок. В прежние маршеобразующие времена его бы произвели в сан Наставника, о чем в коридоре ЖЭКа раскатали бы красными буквами на ватманском листе. Нынче дядя Паша ни в каких ученичках не нуждался, рядом с ним должен был быть работник и более никто. Соломатину тогда казалось, что Каморзин относится к нему с ехидством и даже полупрезрением, в первые дни он окликал Андрея исключительно «стюдентом», позже, вызнав некоторые подробности соломатинского жизнедвижения (или – жизненедоумения), стал именовать его «доктором». И в этом «докторе» ехидств, похоже, рассыпалось и подпрыгивало куда больше, чем в «стюденте».

На вид Каморзин был совершенный злодей. Здоровенный, под метр девяносто дяденька сорока семи лет, ручищи свисают до колен, как у человекообразного с острова Борнео («Вам бы на виолончели играть!» – позволил себе как-то съязвить Соломатин. «В ручной мяч гонял...» – буркнул в ответ Каморзин). Шкаф, амбал, мордovorот, вурдалак. Волос имел короткий, но выглядел взлохмаченным, на манер лешего из Лосиногo острова. Из-под косматых бровей, спадавших ниже ресниц, оба ока его будто прорывались на свет и буравили пространство и размещенных в нем людей. Хозяев квартир, к каким он приходил по водным и отопительным делам, громила-сантехник, мягко сказать, смущал, но чаще, особенно у тех, кто видел его впервые, вызывал страхи: этакий и без всяких разводных ключей раскурочит кого хочешь, надо бы против таких умельцев держать в доме автомат или балончик с газом, но приходилось стоять рядом с ним и его клешнями, как бы чего не спер. А уж какие взгляды, пусть и мгновенные, бросал он на шкафы, безделушки в сервантах, на стены! Сразу было ясно: все рассмотрел. Даже тайники за обоями или в полу учуял, коли такие имелись. Наводчик. Дня через три придут грабители, или сам явится с отмычкой и мешком для добыч.

А Соломатину сразу сообщили, что Павел Степанович в своем деле – волчище матерый, то есть, конечно, искусство судовождения никак нельзя было сравнивать с хлопотами жилищно-коммунального хозяйства, но бывают, наверное, не только морские волки и волчищи. Вот и в ЖЭКах положено им быть. При этом за двадцать с лишним лет трудов не случилось никаких порочащих Каморзина происшествий.

Соломатин, чье первое впечатление от Каморзина совпало с впечатлениями расхожими, скоро открыл, что дядя Паша – не злодей (скажем так – видимо, не злодей), но уж во всяком случае – чудак.

Однажды в минуты безделья в РЭУ Соломатин застал Каморзина за чтением «Избранного» Эдуарда Асадова (другие их сослуживцы стучали костяшками козьино-рыбной игры). Соломатин чуть было не удивился вслух и не выразил своего отношения к уровню виршей лирического резонера. Но промолчал, побоявшись оскорбить привязанности коммунального волчищи. Действительно, для него, Соломатина, хорош Роберт Музиль, почему же для Каморзина должен быть плох Асадов? А Каморзин тогда смутился, томик Асадова сунул под пачканую куртку. Но вскоре выяснилось (и не могло не выясниться), что для дяди Паши Каморзина самое святое – Сергей Александрович Есенин.

Каморзин собирал не только сочинения, но и всяческие воспоминания, заметочки даже и в пять строк о нем и местах, где Есенин бывал, где что-нибудь сотворил или натворил. И это «натворил» было есенинское, а, стало быть, для Павла Степановича – тоже святое. Во всяком случае – возвышенно-оправданное. С удовольствием, но и как бы усмиряя гордыню приобщенного (может даже незаслуженно) к щедростям кумира Павел Степанович поведал Соломатину (вместе они работали уже два месяца) о здешних, никитских, есенинских достопримечательностях. Вот здесь, метрах в ста от их домоуправления («слово-то куда лучше, чем РЭУ, или для вас – нет?») возле Консерватории Сергей Александрович торговал книгами. «Да здесь был магазин имажинистов. На стеночке доска об этом. А само-то здание по деньгам отдано каким-то парфюмерам, какой-то похабной греческой таверне с оскорбительными ценами, за взятки, конечно, выкурили оттуда „Олады“, те студентикам были по карману, и водку там можно было пригубить за уместные бумажки. Ну да ладно...» А если пойти Брюсовым переулком вверх, к Тверской, увидим дом, в коем зарезали Зинаиду Райх. «Как он издевался над этой Зинкой, – будто бы с умилением принимался вспоминать Каморзин, – по мордам бил... Но резать бы, конечно, не стал...» А не доходя до Райхиного с Мейерхольдом дома жил Василий Иванович Качалов, ну да, собака, лапа на прощанье, сами знаете... «Нет, нет, – заторопился Каморзин. – Я понимаю, о чем вы подумали... Конечно, Качалов поселился здесь в начале тридцатых, когда уж и Маяковского не было, а Райх зарезали в тридцать седьмом. Но все это не имеет значения. Для Сереги нет времени. Для него нет пустяшных земных пределов и ограничений в перекрестьях с чужими судьбами...» Каморзин оборвал свои слова, сигарету поджечь никак не мог, он опять смутился и теперь, похоже, всерьез. Смущение его, как понял позже Соломатин, было вызвано не произнесением пафосных слов насчет земных пределов и чужих судеб, а именно этим «Серегой». И будто бы неловкость возникла не от проявления фамильярности, а приоткрылся некий секрет, особенное расположение в мире Павла Степановича Каморзина и обожаемого им поэта, при котором Павлу Степановичу называть поэта Серегой было позволительно. Почувствовав это, Соломатин сразу же скорыми и частными вопросами отвлек Каморзина от углублений в таинственные острова его души. Павел Степанович успокоился и стал называть Соломатину иные никитские дома и квартиры, в каких мог гостевать Есенин или хотя бы останавливаться на ночлег. «И в нашем Брюсовом переулке... – осторожно начал Павел Степанович, – в том доме, где „Ремонт обуви“ и бар „У башмачника“ с плохим пивом, он проживал...» Покурили. «Бочку-то он именно здесь...» – глухо выговорил Каморзин, явно вопреки воле и намерениям. В глазах Каморзина возникло пылание, какое не могли скрыть кусты бровеносца, рот открылся сладко, давая созидателю звука от диафрагмы и до кончика языка вытолкнуть в мир знаменательные слова. Но губы дяди Паши сейчас же будто бы в испуге прижались друг к другу, а пылание в глазах угасло. «Не достоин я узнать сокровенное Павла Степановича, – сообразил Соломатин. – Не достоин...»

Прошел месяц, прежде чем бочка снова была упомянута в разговоре Каморзина с Соломатиним. Павел Степанович, видимо, все еще приглядывался к Соломатину. А впрочем начать свой рассказ он, возможно, не спешил не из-за каких-либо сомнений, а чтобы растянуть удовольствие.

На взгляд обывателя или просто здравомыслящего человека, посчитал Соломатин, история бочки могла быть признана знакомо-житейской. У иных она вызвала бы усмешку, хотя и с долей симпатии – экий ухарь! Другие отнесли бы ее к числу дурацких, а участников ее назвали бы личностями безответственными. Впрочем, чего с кем не бывает... В сознании же Павла Степановича Каморзина, в его рассуждениях о жизни история с бочкой утвердилась воздушно-мифологической, все в ней было огромным и всемирным, она возносилась в выси над Брюсовым переулком, над Москвой, над Рязанской губернией, над муравейно-людской мельтешней.

О бочке Павел Степанович (Соломатин впервые узнал о ней) то ли прочитал лет восемь назад в какой-то газете, то ли услышал о ней в культурной телепередаче. Сам Каморзин рассказал о ней так. Случилось это то ли в двадцать третьем году, то ли в двадцать четвертом. Воспоминатель, начинающий в ту пору литератор, юнец пришел за гонораром на Мясницкую улицу. А в очередь к кассиру за ним встал Сергей Александрович Есенин. Наш юнец так и обомлел. Ну да, конечно, вы сейчас усмехнетесь – юнец! А ваш Сергей Александрович – не юнец? Извините, извините! Если загигать пальцы, то несомненно – юнец! Но нет, он – по судьбе, по творениям – был уже Гёте! («И Гёте знает, – отметил Соломатин. – И что же он читал у Гёте?»). Так вот, продолжил Каморзин, червонцы они получили, кто сколько – не знаю, полагаю, что Есенин больше. Юнцу нашему следовало бежать куда-то по делам, а у Сергея Александровича время было. Он и предложил начинающему посидеть где-нибудь в трактире. Вы бы отказались от такого предложения? То-то и оно. Но нам такого предложения не последует. Сидели они хорошо. Объяснялись друг другу в любви и творческом уважении. К удовольствию Есенина собеседник его был не поэтом, а прозаиком и чтением стихов не утомлял. В ходе застолья Сергей Александрович вспомнил, что ему завтра ехать в Константиново. Тут небесные глаза его затуманились, а потом и повлажнели (Павел Степанович будто бы сидел тогда в трактире на Мясницкой за соседним столиком), матушку вспомнил Сергей Александрович, нищую улицу деревенскую, берег окский. «Надо сейчас же покупки делать! – кулаком по столу вышло постановление. – Самое ценное нужно везти! Как ты думаешь – что?» Юнец наш, прозаик начинающий, принялся бормотать что-то про кружева, мониеты, серьги, отрез миткаля или ситца, а матери рекомендовал прикупить душегрейку на козьем меху. «Дурень! – будто бы вскричал Есенин. – Дурень городской! А потому и никогда не напишешь „Илиаду“!» (Соломатин позже не напоминал Каморзину об «Илиаде», и вышло бы бестактно, и само обращение Каморзина в нашем случае к «Илиаде» было для ума Соломатина явлением непостижимым). «Кружева, мониеты, отрезы! – продолжал кричать Есенин. – Керосин, дурень! Керосин!»

И они отправились в москательную лавку. (О, запахи детства! О, волшебные ароматы москательного магазина на Первой Мещанской! Это уже восклицает автор). «Бочку. Бочку керосина! – заказал Есенин. – Лучшего. А бочку самую большую!» Расторопным хозяином, признавшим Есенина, лучшим был объявлен керосин Бакинского товарищества бр. Векуа. (Соломатин ничего не слышал о Бакинском керосиновом товариществе и братьях Векуа, но проверять сведения Каморзина не было у него нужды). Наняли двух извозчиков, ломового, для бочки, и, как бы теперь сказали, легкового, для сопровождающих бочку лиц. Следовали описания путешествия с Мясницкой в Брюсов переулок и описания Москвы нэповских лет, явно вызванные в Каморзине кадрами кинохроники, фильмом «Ехали в трамвае Ильф и Петров», а возможно и рисунками трех остроглазых весельчаков, в молодости – легко ироничных, позже натянувших на себя шапку Кукрыниксов. Трамвай, трамвай, гротесковые

пересечения рельсовых путей, их немыслимые петли, и зажатые машинами, обреченные на вымирание лошади и извозчики. Так или иначе бочка с керосином была доставлена в Брюсов переулок. Извозчики отволокли ее за порог парадной двери, а тащить на пятый этаж отказались. Не подряжались. Не слаживались. Сергею Александровичу бы швырнуть им деньги или почитать стихи из кабацкого цикла. А он заупрямился, загоношил и учинил скандал. То есть скандал – в понимании извозчиков. Они сплюнули и удалились к своим колымагам. В разумении же прозаика начинающего, так и не сочинившего по прошествии лет «Илиаду», это был выплеск благородных чувств, рык или стон обиженного хамами гения. Юнец робко предложил мастеру оставить бочку здесь же, в чистых сенях подъезда, разве только придвинуть ее к стене да положить на нее бумажку: «Бочка такого-то. Просим уважения». Тем более, что завтра поутру ее потребовалось бы спускать с пятого этажа. «Ну уж конечно! – возмутился мастер. – Ну уж кукиш! Эти ваньки ее тут же и уворуют! Небось, сейчас сторожат за дверью с телегой!»

Естественно, юнцу начинающему и в голову не могла прийти мысль отказать во вспоможении мастеру. Он, если б смог, на руках отнес бы на пятый этаж и бочку, и самого Сергея Александровича. Но, увы, не мог. И начался подъем керосиновой бочки. А этажи в доходных домах – это вам не пролеты в спичечных коробках хрущевских расселений. На Монблан поднимались восходители! На Эверест! Да еще и по отвесному западному склону. «Мне бы тогда быть с ними! – чуть ли не застонал в отчаянии Каморзин. – Мне бы тогда...» Но что вызывать в себе тщетные сожаления?

Лестничные страдальцы наши с криками, с руганью, со стонами из-за придавленных пальцев, с короткими восторгами добрались до пятого этажа. То есть почти добрались. Последний привал перед последним маршем. Еще двенадцать ступеней восхождения. Уселись на камни отдышаться. Хорошо хоть фасадное окно, окнище, было растворено для продувания дома вечерним воздухом. То ли кручинушка овладела тогда Сергеем Александровичем, опустил он голову («Отчего же не буйную? – опять удивился Соломатин. – Буйную – тут положено!»), соломенные волосы его опали на щеки. То ли горевал он о своей судьбине, то ли складывал печальные строфы.

Тогда все и случилось. Прозаик начинающий чуть ли не придремал, а потому начальное движение поэта проглядел. Стадия поступка была срединная. Сергей Александрович, гений, выкрикнул: «А-а-а! Пошла бы она на...!», подскочил к бочке, поднял ее и вышвырнул в распах окна. Соломатин позже выслушал несколько версий истории бочки, и каждый раз Павлом Степановичем допускались свежие толкования случившегося восемьдесят лет назад. Лишь однажды Сергей Александрович вздымал бочку на грудь и грудью же, всем телом своим выталкивал бочку на уличные воздушы. Чаше же Сергей Александрович держал бочку над головой, на вытянутых руках, и швырял ее к небу, чтобы оттуда она низвергнулась на Землю. Деликатный вопрос Соломатина: а не подумал ли швырявший о том, что бочка могла обрушиться на каких-либо прохожих или, скажем, на легкомысленно бродивших собак, вызвал удивление Каморзина. Причем тут какие-то другие люди или тем более собаки? Действительно, согласился Соломатин, не причем. Гимнастические упражнения кумира с подъемом и метанием бочки Каморзин изымал из житейской низости и ставил ее в ряды надчеловеческие – мифологические, песенные, былинные и прочие. Причем все сравнения оказывались благосклонными именно к Сергею Александровичу. Степан Разин в набежавшую волну швырял персиянку, пусть и княжну, в коей, наверняка, было сорок килограммов. И вот об этом действии потомки вспоминают уже четвертое столетие. «Нашли с кем сравнивать! – проворчал Соломатин. – С Разиным, с этим кровопийцей...» (Соломатин считал Разина первейшим негодяем). «Я и не сравниваю!» – возмутился Каморзин. По мнению Каморзина, Есенин был истинным титаном. Но не Прометеем, упаси Боже, нет. Это Маяковский мог числить себя родственником Прометея и желал пылать в сто тысяч

солнц, допылался. Сергей Александрович не был воспламенителем или факельщиком, он скорее выступил в Брюсовом переулке как титан-огнеборец, теперь бы сказали – титан-эколог. Последнее соображение смутило самого Каморзина. Он тут же объявил: ну если не титаном, то несомненно исполином. (Соломатину довелось видеть фотографии Есенина, вынуженного в «Англетере» из петли. Лежал – на чем-то – худенький опечаленный мальчик. Чуть ли не ребенок лежал... Какие уж тут Гераклы и Самсоны!). В представлениях же или в видениях Павла Степановича поэт с вознесенной над головой бочкой превращался именно в исполина, ростом с единственный (тогда) в столице небоскреб Нирензее, он возвышался над Москвой светочем и предупреждением (не только в этом «светоче и предупреждении», но и в других словах Каморзина кувыркались противоречия, однако они в сути отношений поклонника и поэта были естественны и ничего не меняли). Соломатин мог предположить, я, впрочем, повторяю, что ему открыт лишь один эпизод из жизни Есенина, а таких эпизодов для Павла Степановича – тысячи, и каждый из них имеет суверенное каморзинское толкование.

Позже, если случались поводы, Каморзин снова вспоминал о бочке, но уже без пафоса, без пылания в очах, а именно как слесарь-сантехник. Поводы были самые простые – вызовы в дом с баром «У башмачника». Однажды Каморзин предложил Соломатину подняться к историческим ступенькам и фасадному окну, откуда и вылетела в пространство и в есениноведческое время, то есть в вечность, бочка Бакинского керосинового товарищества. Каморзин сидел на камнях лестницы, покуривал, и Соломатин видел, что наставник-напарник его волнуется. Причина волнения оказалась иной, нежели предполагал Соломатин. Выяснилось: Павел Степанович не был уверен в том, что Есенин проживал в облюбованном и узаконенным им, Каморзиным, здании, а не в соседнем, схожим со здешним размерами (ну лишь этажом ниже) и судьбой некогда процветающего доходного дома. Никаких документов Павел Степанович не видел. Все его установления опирались на свидетельства юнца начинающего, допущенного гением сопровождать бочку. Как-то сразу Каморзин уперся сознанием в дом номер два, строение один, с обувным ремонтом и полюбил его. Лишь через неделю сообразил, что и строение второе дома номер два имеет права на Сергея Александровича. Ущербная щепетильность грызла натуру Павла Степановича, но обговорить сомнения было не с кем. Не в Литературный же музей тащиться на посмеище! Теперь же собеседник образовался и был признан годным давать советы. Соломатин рекомендовал Каморзину отправиться в соседнее строение и там порассуждать. Каморзин, выяснилось, подобные путешествия предельвал и не раз. В пролете между четвертым и пятым этажами Соломатину ничего нового не открылось. Те же полустертые ступени, те же коммунальные запахи – сверху обжаренного, возможно, для борща лука, снизу – рыбных котлет, то же фасадное окно, иных, правда, линий, однако готовое дать дорогу не только бочке, но и автомобилю «Газель». «Как же быть? Как же быть?» – страдальчески спрашивал Каморзин, будто отчаялся в тупике критского лабиринта, в руке его гас последний факел. «Проще простого! – без раздумий ответил Соломатин. – Куда привели флюиды вашей душевной близости с поэтом, там, стало быть, он и жил, там и теперь, наверняка, обитает его фантом, туда он несомненно и вез с Мясницкой бочку».

– Я так и предполагал! – выдохнул Каморзин.

– Павел Степанович, а с бочкой-то что вышло? – поинтересовался Соломатин, они уже тротуаром Брюсова переулка протискивались мимо нагло уставленных всюду иномарок здешних банкиров, в лучшем случае – пиликальщиков и трубачей, с острым, но подавленным желанием оцарапать полированные бока или сбить зеркальце заднего вида.

– Доктор, это и меня волнует! По словам того... начинающего прозаика... он, когда спустился в переулок, никакой бочки не увидел. И мертвые тела не лежали, и бранных слов никто не произносил. Переулок стоял пустой. А на бульжнике мостовой блестело и воняло лишь маслянистое пятно. То есть керосиновое пятно. Вот здесь! – указание Каморзина паль-

цем было уверенное, но Павел Степанович, видно, вспомнил о претензиях соседнего строения и добавил деликатно: – Или вон там... Ну, были еще и конские изделия...

– То есть бочку сперли?

– Ну, может и не сперли... А просто унесли или убрали с дороги... Дворники, да еще и с бляхами на груди, были тогда опорные люди в городе...

Павел Степанович не мог не признаться, что он («так, на всякий случай, а не из-за какой корысти») повел себя и искателем, пытался обнаружить в кварталах Кисловской слободы и Успенского вражека следы пребывания Сергея Александровича или даже реликвии его. («А то стал бы я околачиваться в нашей конторе с моими-то руками...» – было выговорено и тут же замком защелкнуто). Помолчав, Каморзин рассказал о том, что однажды вышел на носившего некогда дворницкую бляху и услышал от него: да, ходили здесь разговоры о керосиновой бочке некоего хулигана и охальника, чечетавшего, вроде бы, американские танцы в белом исподнем, и будто бы эту бочку не принимали в утиль...

6

Долгое мое событийное отвлечение произошло, прошу извинения, в тот самый временной промежуток, когда дядя Паша Каморзин и Андрей Соломатин отправились по вызову в Средне-Кисловский переулок. Под ногами их была омерзительная скользь декабрьского подморозья. Соль в эту зиму сыпать запретили. Лишь кое-где, вблизи напуганных мэрией контор и магазинов, лед был сбит ломами.

– Доктор, а ведь мы с тобой, – заговорил Павел Степанович, он был сыт, благодушен, но отчего-то и зевал, – мы ведь с тобой могущественные и влиятельные люди...

– Я вас не понял, Павел Степанович, – рассеянно сказал Соломатин.

– Кучма, доктор, и вся их незалежность сидит на трубе. Латвия-Аспазия с мордой мопса сидит на трубе к ихним портам. А мы с тобой, доктор, на скольких трубах сидим? – и дядя Паша Каморзин ощутимо для прохожих рассмеялся.

– А какие наши выгоды? – спросил Соломатин. – Сравнение ваше, Павел Степанович, поехало мимо логики. Ко всему прочему мы не сидим, а ходим. И не возле труб, а возле трубочек. И текут в них не газ и не нефть, а в лучшем случае вода, во всех других случаях – дерьмо!

– Ну ты, доктор, не в духе, – вздохнул Каморзин и, надо полагать, осерчал на спутника, не пожелавшего поддержать разговор.

– Не в духе, – согласился Соломатин.

Молча они прошли мимо модных, с французскими эсклюзивами, витрин, мимо открытой двери рюмочной (Каморзин привычно острить здесь себе запретил), у театра Маяковского свернули в переулок, временно пребывавший Собиновским, а теперь вернувшийся в Мало-Кисловское состояние, и тогда Каморзин не выдержал:

– В дом-то, куда мы идем, Есенин захаживал, у него знакомая там была...

Интерес Соломатина не был разбужен, но Каморзин добавил:

– Хористка...

Теперь не выдержал Соломатин, уважавший точность:

– Дом строили для консерваторской профессуры. Откуда ж тут взялась хористка?

– Ну может быть, и не хористка, – Каморзин не растерялся. – Хористка – это я для облегчения понимания... Может, какая известная музыкантша... Или, скажем, дочь профессорская... Или даже профессорская жена... В общем, было к кому заглянуть...

– Ну и слава Богу! – слова Соломатина прозвучали предложением помолчать.

– Ну и удручил кто-то тебя сегодня, доктор, – проворчал Павел Степанович будто бы для себя, но по морозцу внятно.

У дома с водяным происшествием их поджидал чернявый горбоносый мужик лет сорока в оранжевом муниципальном коконе поверх овчинного тулупа.

– Привет. Тренер сборной Голландии по футболу, – мужик протянул руку Соломатину.

– Ты все шуткуешь, Макс! – обрадовался Каморзин. – Чего тебе от нас?

– Степаныч, ты потом, когда дискуссию закроешь, посмотри с коллегой подвал, не залили ли и его, там у меня вещички кое-какие...

Макс, он же Максим, он же Максуд был сергачский, то есть нижегородский татарин, но это – факт его происхождения и племенной принадлежности: не из казанских, а из русских татар, московские в большинстве своем – не казанские. Для служителей же Брюсова переулка и Кисловской слободы Макс был прежде всего – из «затверских». В здешней местности Тверская улица протекала как бы водным потоком. Причем – рекой большой, можно сказать, Волгой. И не потому, что улица была широкой, а потому, что на левом и правом берегах ее (берем направление на Тверь и Петербург) исторически, в двадцатом веке, местились разные

районы, префектуры, округа, разные отделения милиции и столы прописки, то есть разные власти и всяческие прикрепления и притязания. Я жил по левую сторону Тверской в Газетном переулке, в Камергерский попадал от Телеграфа подводным, надо признать, переходом. Так или иначе для нас и для РЭУ в Брюсовом переулке Макс был чужак, из «затверских». (Написав эти слова, я ощутил их вздорность. На самом же деле Тверская пролегла по холмам московского водораздела, с правого бока его ручьи стекали к Неглинной, с левого – к Москве-реке и низовьям той же Неглинной. Впрочем, где теперь эти холмы?). В доме вблизи Столешникова переулочка Макс был прописан, там и служил дворником. Но и в Средне-Кисловском он также имел двор. Вблизи Столешникова Макса подменяли жена Раиса и разного возраста родственники и земляки из нижних сретенских переулочков и улицы Дурова, все в оранжевом. Объяснения (или оправдания) коммунальных рвений Макса были простые. Он мечтал (страждал даже) устроить в деревне под Сергачом если не конский завод, то хотя бы лошадиную ферму. Грезилась ему линии по выделке сырокопченой колбасы «казы», по разливу в бутылки белопенного и в меру алкогольного кумыса, виделись на лугах у речки Пьяны, несущейся к Свияге, табуны скакунов, способных добывать валюту. Но увы! Увы! О, московские искушения, погубившие у многих мечты и начальные капиталы, судьбы людские покорежившие, кому вы неведомы! Да, известны всем и всякому! А потому в деревне Максуда Юлдашева скакуны пока не заводились, а колбаса «казы» и кумыс прибывали туда, как и в Москву, из мест более разумно-удачливых. Позже, уже по весне, когда в натурах иных москвичей пробуждение природы вызывало томление исконно-деревенского начала – овсы вот-вот взойдут! – Соломатин за столиком в рюмочной неосторожно посоветовал погрузневшему Максуде не расстраиваться, а заняться разведением в Сергаче медведей. «Чего?» – пробормотал Макс. Начитанный Соломатин принялся разъяснять дважды дворнику (а может и трижды?), что в прошлые века в его Сергаче процветала медвежья академия, вторая в России, в ней учили медведей с серьгой в ухе выделять на ярмарках и балаганах потешные номера. Макс громко возмутился, готов был кружкой ответить на подковырку водопроводчика, но неожиданно притих...

В квартиры с Каморзиным и Соломатиным Макс заходить, естественно, не стал. Дела, как и предполагал Каморзин, их ждали простые, но ведущие к удовольствиям. Или даже к добычам.

Протек на нижних соседей некий господин Квашнин. Год назад он купил в доме три квартиры, две на третьем этаже, одну на четвертом. Перестроил их, в верхнем помещении разместил кабинет, в нижних появились замечательные комфорта для буднично-житейских интересов и функций. Вид у господина Квашнина был хмуро-бледно-северный (то ли ижора, то ли из чухны) и это жильцов к нему отчасти расположило – вроде бы не бандит с кинжалом под буркой и родственниками абреками. Впрочем, и симпатий к нему никто не испытывал. Но и встречали его во дворе и в подъезде редко. От жильцов, залитых Квашниным, Каморзин с Соломатиным узнали, что двери на третьем этаже намерены были взламывать, но сообразили: для пролома их потребовался бы танк. Однако суэта вблизи дверей сигнальной системой вызвала к дому милиционеров. Потоп уладили. Вскоре подкатил франтовато-важный господин, назвавшийся Агалаковым и домоправителем Квашнина. Этот Агалаков был скорее не озабочен, а возмущен происшествием. По его словам Квашнина в квартире не было, он сейчас не в Москве, а под Вологдой и в трудах. И вообще в квартире никого не было. И не могло быть. А, значит, потоп не наш. Его же, Агалакова, никто не вызывал, а подъехать побудило некое колющее предчувствие. Однако Каморзину с Соломатиным от дворника Макса было известно, что часа полтора назад из подъезда выбежала баба лет двадцати, брюнетка, в мохнатой шубе, с мордой распаренной и растерянной, вскочила в красный «Пежо» и укатила, бабу эту, как и других шлюх, Макс видел в обществе Квашнина.

Из приличия и по требованию Агалакова сантехники наши поднялись на четвертый этаж, полы и трубы в квартире над водяными удовольствиями Квашнина были сухие.

Милиционеры, лейтенант и старлей, квартиру пока не покидали, любопытство ли их удерживало или еще что... Агалаков, разместивший дубленую шубу на вешалке в прихожей, обращался именно к ним, а не к убогим водопроводчикам. В зимний день он оказался в квартире уважаемого клиента в белом костюме и белой же бабочке, был он живописен, темнорусые волосы до плеч, шекспировская борода и усы вызывали у собеседников мысли об артистической натуре. Стоял и передвигался Агалаков, не меняя позы, руки его были сцеплены на белой груди, причем ладони их прижимались к локтям, голова же домоправителя была чуть откинута, будто бы Агалаков стоял перед полотном Паоло Уччелло и минув взглядом всадников на переднем плане, рассматривал голубые тени в расщелинах дальних умбрийских гор. Был он вроде бы учтив и внимателен, но когда сощуривал глаза, Соломатину виделось в них высокомерие или даже брезгливость.

– Вот вы, – неожиданно для себя Соломатин обратился к Агалакову, – утверждаете, что в момент потопа в квартире никого не было. А нам сообщили, что именно тогда отсюда выскочила женщина, брюнетка двадцати лет и бросилась к красному «Пежо»...

– Кто вам сообщил? – возмущенно спросил Агалаков.

– Дворник.

– Кто?! – расхохотался Агалаков. Был бы в его руке лорнет, он непременно навел бы его на водопроводчика.

– Здешний дворник. Юлдашев.

– Дворник! – гоготал Агалаков, опять, вероятно, ожидая понимания милиционеров. Ему бы сейчас вздеть руки к небу и возбудить там иронию к уровню свидетеля, но нет, руки его так и остались сцепленными. – Дворник!

– Простите, – сказал Соломатин, – мы с Павлом Степановичем здесь по вызову, а в каком сане вы?

– Я домоуправитель Анатолия Васильевича Квашнина, – серьезно выговорил Агалаков. – Агалаков Николай Софронович.

– То есть вы управляете домами Квашнина? Иначе говоря, вы его домоуправ? Или даже дворецкий?

– Ну... – Агалаков впервые смутился. – Буквально так моя должность в контракте не названа... А по сути дела – да! Я присматриваю за городскими обиталищами Анатолия Васильевича.

– Ага... – Соломатин соображал неспеша, будто был тугоухий. – Значит, вы присматриваете за квартирой господина Квашнина, за мебелью в ней, за посудой, за полами, за краями, за гостями... За гостями...

– Молодой человек, не знаю, кем вы упомянуты в штатном расписании вашего РЭУ, – «РЭУ» Агалаков произнес так, словно вспомнил о собачьей будке, глаза его сузились, губы сжались («Испепелить и сейчас же!» – вспоминал потом Соломатин), кисть левой руки его продолжала поддерживать локоть правой, правая же рука локоть отпустила, при этом произошло нервическое шевеление пальцев, – но ваше желание оказаться здесь следователем или даже прокурором – смешное.

– Вы ложно толкуете мой интерес, – тихо сказал Соломатин. – Мы с Павлом Степановичем обязаны лишь установить, кто виноват в происшествии и какой урон нанесен зданию и пострадавшим жильцам. Вы говорите, в квартире никого не было, а в ванной и в гостиной следы свежего пребывания женщины и ее внезапного отбытия очевидны.

– Отчего же именно женщины? С подачи дворника, что ли?

– Там и запахи... – робко вступил в собеседование Каморзин. – Еще живые... и непременно женские...

– Павел Степанович очень чувствителен к запахам... – кивнул Соломатин.

– Ба, ба, ба! – обрадовался Агалаков, левый локоть его вновь был обласкан ладонью. – К нам, оказывается, и нюхательные собаки забрели! Впрочем, пардон, пардон. Извините за неучтивость.

– Я предложу пройти в ванную, – сказал Соломатин. – И вам, и всем, кто пожелает. А потом и в гостиную...

Милиционеры пожелали.

Ванна, выложенная перламутровой и жемчужной плиткой, по привычке восприятия – плиткой, а может и неизвестно чем, была удивительного для обывателя, примятого курсом рубля к спасительным кубикам «Галина бланка», вида. Над полом возвышалась метра на полтора, тянулась от стены до стены («Метров шесть...» – прикинул Соломатин), изгибаясь, и имела как бы голубые заливы и лукоморья. Ясно, что создавали ее умельцы, неподотчетные РЭУ.

– Вот, пожалуйста... Как утверждают в кроссвордах, чисто женский прикид, – указал Соломатин. – Мятые, брошенные впопыхах, мокрые местами... Мы с Павлом Степановичем их не подбрасывали и в воду не макали. А дворник, кому нет оснований не доверять, сказал, что выбежавшая из подъезда девушка... дама... была – в морозец-то! – без чулок, шуба распахнулась, тело почти голое...

Чисто женским прикидом были названы черные колготки, валявшиеся на ворсисто-лохматом, часами раньше, ковре, теперь, понятно, прилизанном водой.

– Эротические видения дворника! Боже мой! И это приходится выслушивать! – Агалаков повернулся к милиционерам, призывая их оценить бестактности и глупости водопроводчиков.

«Э-э! Да у него на пиджаке хлястик!» – удивился Соломатин, обомлел даже, будто обнаружил поблизости от себя дитеныша плеозиозавра.

– А на полке – косметичка, из нее впопыхах изымали какие-то женские штучки... вот пилки для ногтей... а это, вероятно, гигиенические пакеты... А вот пятно от помады... Свежее...

– Ну, помадой и колготами, предположим, пользуются теперь не одни лишь женщины, – заметил старший лейтенант.

– Запахи исключительно женские! – строго сказал Каморзин.

– И запахи, знаете ли, самые специфические не обязательно могут происходить от женщин, – стоял на своем старший лейтенант.

– А в гостинной брошен шелковый шарф, – сказал Соломатин, – им тоже вроде бы вытирали помаду...

– Идиотка Нюрка! – шепотом выбрал идиотку Агалаков, но шепот его вышел гласным.

– Какая Нюрка? – поинтересовался лейтенант.

– Да нет, нет! – заспешил Агалаков. – Нюрка – это... Нюрка – это приходящая уборщица, была тут три дня назад и плохо все прибрала... Рассчитаю стерву!

– Про уборщицу ничего не могу сказать, – заявил Соломатин. – А наши соображения такие. Днем здесь нежилась в ванне некая женщина. Пена от ее шампуня, как видите, осталась на боках ванны. То ли она впала в дремоту, и не следила за потоком воды, то ли, и это вероятнее, что-то случилось. Звонок ли какой или еще что, но она в спешке или испуге выскочила из квартиры, оставив воду течь. О чем мы и напишем в служебном отчете.

– Погодите, погодите! – засуетился Агалаков, руки расцепил. – Вниз вода протечь не могла! Это исключено! Мастерами сток устроен идеально, наверняка, сами нижние на себя и протекли. У них трубы не меняли со времен шестой симфонии Чайковского!

– А мы сейчас к ним спустимся, – сказал Соломатин, – и все установим.

Под водоемом Квашнина, выяснилось, проживал музыковед Гладышев. Комната, принявшая воды, была и кабинетом, и столовой. Три стены в ней прикрывали накопители пыли – полки с книгами и альбомами нот.

– Смотрите, смотрите! – восклицал Гладышев, размахивая пузырьком с валидолом. – Вот что наделал этот варвар-коннозаводчик!

«Коннозаводчик? Квашнин – коннозаводчик? – подумал Соломатин, – Стало быть, дворника Макса нельзя считать вполне объективным свидетелем... И все же...»

– Лучшие книги залиты, скрючены, испоганены, вот первое издание писем Мусоргского, им цены не было, теперь в какой-то вонючей пене!

– А может пена-то ваша? – брезгливо произнес Агалаков, вновь уже мраморно-мемориальный и со сцепленными руками.

– Потеки на книгах и стенах и по запаху соответствуют верхней шампуню, – сказал Каморзин. – Шампунь «Нивея».

– Погодите, погодите! – снова засуетился Агалаков. – А вы поглядите у этих старожилов ихние древние трубы. Из них, небось, и хлещет! Где они, трубы-то?

– Они у нас в фанерном коробе, – растерялся музыковед. – Уж больно страшно смотрелись, мы их прикрыли коробом, обоями заклеили, вон там между полками...

– Из них и хлещет! – обрадовался Агалаков. – Не умеете благоденствовать, не умеете соответствовать уровню городского коммунального хозяйства! Стыдно вам должно быть! Водопроводчики, вскрывайте короб!

Соломатин встал на табуретку, большой отверткой разрезал обои, развел створки фанерного короба, труба, по навету Агалакова – будто бы ровесница симфоний Чайковского, была сухой.

– Вскрытие короба, – сказал Соломатин, – тоже запишут на счет Квашнина.

– Вы меня удивляете, молодой человек! – рассмеялся Агалаков. – Анатолий Васильевич подтерся бы вашими бумажками, если бы они были гигиенически приемлимыми. Может, вы и этими обмоченными письмами Мусоргского вздумаете нас допекать?

– Да как вы смеете так о первом издании! – вскричал музыковед Гладышев. Но тут же и спросил: – А мы с вами не знакомы? Где-то я вас встречал...

– Не имею чести. К счастью...

– Нет, точно, точно! – не унимался Гладышев. – Как же, как же, несколько лет назад я видел вас в мастерской художника Сундукова... Да, да, вы же там...

– Перекреститесь и отгоните привидения! – торопливо посоветовал Агалаков, а Соломатину будто приказал: – Теперь вниз, на первый этаж! У меня нет времени.

Похоже, он сбегал от затопленного музыковеда.

Понятно, что и на первом этаже, в квартире Сениных, ущербы, пусть и менее впечатляющие, нежели у Гладышевых, происходили от известного водоема. Куски потолочной штукатурки («головы могли пробить!») валялись и здесь на полу. Как и Гладышевым, Соломатин посоветовал посчитать на манер умеющих качать права жителей города Ленска все убытки от наводнения и не стеснять себя в претензиях и требованиях.

– Ну что, мастерские, закончили комедию? – спросил Агалаков на лестничной площадке. – Вам понятно, с кем вы имеете дело? Или непонятно?

– Ну мы-то что же... – пробормотал Каморзин.

– Нам-то понятно, – сказал Соломатин. – Дело мы имеем с водопроводом.

– Ох! Ох! Храбрые портняжки! Семерых убивахом! Ну, смотрите. Если сочините всю вашу галиматью да еще и про девицу с голыми ногами, посыпятся на вас большие неприятности.

– А если не сочиним, посыпятся приятности, что ли?

– Ну вы и вовсе наглеете! Хотя отчего же, могу предложить и приятности...

– Это мимо нас.

– Молодой человек, вы, видимо, из неудачников. Вроде этих замоченных. Из-за неудач вы и дерзите людям преуспевающим. Но неудачи вас еще ждут. Пеняйте на себя.

Соломатин смотрел в спину поспешившему на третий этаж Агалакову и вдруг выпалил будто бы в удивлении:

– Ба! Да у вас хлястик!

– Что? – Агалаков резко повернулся, словно в испуге.

– Взгляните, Павел Степанович! – возбуждение не оставило Соломатина. – У него на пиджаке хлястик!

– Ну и что? – удивился Каморзин.

– Ну как же! Хлястик!

– Хлястик. Ну и что?

– Да ничего... – утих Соломатин.

Он хотел было пересказать Павлу Степановичу читанное в журнальной статье. Лавровуенчанный модельер первейшим примером вымерших в двадцатом столетии и совершенно бесполезных деталей мужского костюма приводил хлястик. А тут франт белокостюмный, денди среднекисловский, и при нем хлястик! Но Каморзину-то столь ли существенен был теперь хлястик? Да что и ему, Андрею Соломатину, мелочи мужских костюмов?

– Ну ты, доктор, нынче и углубился! – то ли удивление было выказано Каморзиным, то ли его недовольство напарником. При этом – вдруг и на «ты». – Любишь помалкивать, ну и давал бы говорить старшему. Нам ведь в руки текло, а ты – в забияки и задиры! Басню читал? Кто там забиякой-то хотел стать?

– Угождать моя натура противится! – резко сказал Соломатин.

– Однако от благодарных рублей ты не отказывался.

– Из рук нормальных людей и за нормально произведенную работу.

– В досаде ты, Андрюша, – вздохнул Каморзин. – И досаду свою захотел выплеснуть. Вот выгоды от нас и отпали. Да что выгоды! Этот пижон, знаю таких, уж точно, учинит пакость.

– Павел Степанович, пошли в Брюсов. Там вы дело изложите так, как вам хочется. К тому же и технику-смотрителю придется во всем удостовериться...

– Э-э, нет, – сказал Каморзин. – Ты у нас доктор, грамотей и писака...

Внизу дворник Макс напомнил им об обещанном исследовании подвала. Иные в стеснении бормочут, будто виноватся, Макс же, стесняясь, что позже подтвердилось для Соломатина, матерился и рычал, словно желая привести в трепет способных ему навредить негодяев. Сейчас его матерные комплименты отлетали в сторону мэрии и чинов, управляющих дворниками. Стеснения же Макса происходили от того, что он должен был при людях проверить кое-какие свои вещицы, их сухость и сохранность. Что это за вещицы, возможно, приготовленные для устройства кумысно-колбасной фермы под Сергачом, Соломатин так и не узнал. Позже ему лишь открылось, что Макс у себя во дворе, за Тверской, вещицы не хранил, свои же подлецы, столешниковские и никитские, татары и прочие, все бы уворовали. Или же земли тут опять бы разверзлись и добро ухнуло б в провал.

Лампочка в подвале светила тускло. Макс снабдил Каморзина фонарем, сам ступеньками, будто вытесанной в камнях лестницы, двинулся к своим вещицам, надо признать, громоздким (на глаз и в отдалении, за фигурой как бы укрывшего их дворника), Каморзину же с Соломатиным было рекомендовано осмотреть стены и углы подвала, не протекла ли и сюда водичка с шампунем «Нивея». «Ну и хлама у тебя! – удивился Каморзин. – Небось приволакиваешь цветные металлы, а потом продаешь их Эстонии!» «Какие цветные! Какой Эстонии! – дворник выругался всерьез. – Тут до меня за сто лет такого насовали, а я разгребай и выноси? Накось выкуси! Миллион заплатите, тогда разгребу!» В дискуссию о судьбе

металлического лома Соломатин не вникал. Он стоял завороченный. Он смотрел на стены и своды подвала. Луч фонаря бродил по ним, создавая мерцания и нервные пятна в углах.

Соломатин знал: в срединной Москве, в пределах Садового кольца, и в особенности – Белого города, есть множество подвалов и подземелий, архитекторами неисследованных. Московские хозяева, имевшие соображения о выгодах, древних каменных подклеев не рушили, а новоделы ставили на старых основаниях. Напротив их РЭУ, в Брюсовом переулке, Музыкальное общество удачно обитает во дворце Брюса, елизаветинского сановника, племянника петровского навигатора и чернокнижника Брюса Якова Вилимовича. Дворец покалечен, выведен из красот барокко в неприличие комунхозовского строения первых пятилеток, но подвалы в нем, говорят, – таинственно-чудесные. А северный флигель Брюсовой усадьбы, отданный владельческому банку, куда гражданина с улицы по справедливости не допустят, после хлопот реставраторов стоит теперь с узорными наличниками, щипковой крышей и дымалями семнадцатого века. И сейчас Соломатин ощущал, что он – в восемнадцатом веке. А не исключено, что и в семнадцатом. Подвал дворника Макса был частью протяженного подземелья, его замкнули кирпичной стеной, выложенной лет пятьдесят назад, возможно, ради прочности здания. В старых же стенах и сводах с распалубками угадывались линии восемнадцатого и семнадцатого веков, вполне вероятно, что громадину дома держали на себе замазанные штукатуркой бруски тесаного мячковского белого камня. Соломатина занесло судьбой в недра Кисловской слободы Кремлевского приказа. Снова признавал он себя окатышем галечным в вертикали веков. Что он суеверился сегодня вблизи барского водоема на третьем этаже, то есть – на плоскости начального века третьего тысячелетия? На плоскости-то этой он именно мелочь и неудачник! Неудачник! Что ему до других неудачников, залитых жидкостью с шампунной пеной, что толку ему досадовать на коннозаводчика Квашнина и франта с хлястиком?

– Ну вот, Макс, – донесся до Соломатина голос дяди Паши Каморзина, – это уж точно цветные металлы! Ты меня не проведешь.

– Да пошел ты, чудила блинный, со своими цветными! – отозвался Макс. – Ты увидел потеки или нет?

– Ничем не могу порадовать, – сказал Каморзин. – Сухой твой подвал.

– Вот, блин, не везет. Надо было самому плеснуть на стены пару ведер. Ничего, в следующий раз он у меня и сюда прольется, мы этого миллионщика наколем на ущербах! – пообещал Макс. – Ну и где цветные драгоценности?

– А вот дыра какая-то торчит. Взблескивает от фонаря.

Вблизи Каморзина Соломатину увиделась груда всяческого барахла. Ванна, днищем вверх, может быть времен ученичества Рахманинова, радиаторы перекошенные, кроватные сетки, и дерево было тут свалено, створки буфета или шкафа, пюпитры, черные куски от крышек королевского инструмента, еще что-то, не подвластное мгновенному осознанию (или опознанию), это что-то надо было руками ощупать, выволочь на свет Божий и рассмотреть. «Может, и книги здесь рассыпаются стоящие! – взволновался Соломатин. – Надо будет повести знакомство с Максом...»

– Ну и где дыра твоя взблескивающая?

– Вот тут, из-под ванны торчит. Соломатин, доктор, иди-ка подсоби.

– Эту я знаю, – поморщился Макс. – В утиль отказались брать. Бочка помятая.

– Какая бочка? – выпрямился Каморзин.

– Есенинская, – съехидничал Соломатин.

Каморзин сейчас же чуть ли не упал на бочку помятую, носом уткнулся в ее сущность.

– Керосин! – прошептал Каморзин. – Бочка из-под керосина!

– Во, блин, дегустатор! – обрадовался Макс. – Если и был в ней керосин, то при Керенском. Да и ссали на нее сто раз, даже и мыши. А он учуял запахи!

Говорить Макс о нюхательных достижениях Павла Степановича Соломатин не стал. Высвобожденная из-под тяжелой (каслинского литья, что ли?) ванны железяка оказалась не просто мятой, а будто бы сначала проглаженной дорожным катком, и уж потом – и мятой, и проученной кувалдой. «Корыто, побывавшее под прессом», – пришло в голову Соломатину.

– Андрюша, доктор, на фонарь, свети сюда, – воодушевлялся Каморзин. – Ближе, ближе! Ярче!

– Как это ярче? – удивился Соломатин.

– Вот, вот! Буквочки-то! ...кинское керосиновое товарищество... И цифирки... один... девять... четы... четыре ...кинское? Бакинское! 1924-й год! Все сходится! Сюда теперь свети! Ниже, ниже! И тут буквочки... Но будто бы ножом... Перочинным ножом скребли... «С» с точкой ... И «Е» с точкой... И дальше – Конст... Константиново! Конечно, Константиново!

– С ним это... часто такое случается? – спросил дворник у Соломатина и повертел пальцем у виска.

– Максим, голубчик, железяка эта тебе не нужна... А мне пригодилась бы... на даче... Взял бы я ее... А я тебе...

Это лишнее и полуобязательное «я тебе», видимо, вызвало в дворнике острые коммерческие соображения. Впрочем, не надолго. Сегодняшняя пролетарская солидарность одолела в Максе предпринимателя. Он сказал великодушно:

– Забирай. Клади на даче перед крыльцом. Грязь соскребать. А уж этому кровососу с тремя квартирами вы впаяйте!

– Впаяем! – радостно пообещал Каморзин.

И своими ручищами Павел Степанович никак не мог ухватить помятую железяку, при этом он и осторожничал, возможно, из-за боязни навредить грубыми пальцами своей ценности. А Соломатин чувствовал, что дядя Паша кого-либо постороннего допустить к реликвии не в силах.

– Да отбросьте вы, Павел Степанович, свои сомнения, – сказал Соломатин. – Вдвоем и оттащим. Возьмем за углы. Вы – спереди, я – сзади. Как носилки.

– Точно, как носилки! – хохотнул дворник Макс. – А меня усадите под балдахин.

– Вы надо мной смеетесь...

– Да не смеюсь я! – сказал Соломатин. – Не смеюсь.

– Я тебе верю, – кивнул Каморзин. – Тебе – верю.

При свете дня добыча Павла Степановича выглядела отвратительно. Прохожие в переулках на нее косились, как и на двух переносивших странно-нецелесообразную вещь. Соломатину стало казаться, что он нелеп и, как сплюснутая бочка, нецелесообразен в московской толпе и людском сообществе.

В Брюсовом переулке добычу («Мужикам не говори!») занесли за спину казенно-жилого дома (РЭУ занимал здесь лишь первый этаж и подвал), на время прислонили к стене («вечером увезу в свой гараж»), укрыли валявшимися рядом щитами из досок.

– Спасибо, Андрюша, спасибо, доктор! – взволнованно говорил Каморзин. – Вот тебе, возьми!

– Что это? – удивился Соломатин.

– Презент! За то, что помог донести и надо мной не смеялся. В подвале вещичку при-смотрел... Не знаю, что это... Но по запахам чую, что есть в ней важность и смысл... Сам бы взял, но мне тут же ее... эту... ну сам понимаешь... подарили... А тут лишнего брать нельзя... Возьми... Макс не болтай...

И тут в руки Соломатину перешел некий предмет, вроде шкатулки, размером именно с небольшую палехскую, а впрочем похожий и на футляр электрической бритвы. Позже Соломатин вспоминал, что он сразу ощутил шероховатость предмета или даже колючесть

его, словно бы он с годами оброс чем-то неровно-костяным. Впрочем, Соломатин не присматривался внимательно к презенту Павла Степановича и уж тем более не приняховивался к нему. Ему и так чудилось, что если презент чем и пахнет, то печалью. Он желал вернуть Каморзину приобретение, на кой оно ему, но побоялся, что дядя Паша учует его отношение к Бакинскому керосиновому товариществу, и праздник каморзинской души будет расстроен. Ко всему прочему он думал теперь не о раскопанной в подвале фиговине, а о самом себе. Что он выкобенивался, что он дерзил франту-дворецкому, что он к хлястику его, в конце концов, привязался? Именно потому, что – неудачник, что манеру жизни Квашнина и его дворецкого признать порядочной не желает, и тем себя тешит и оправдывает. Вот и дерзил, вот и куражился. Но грош цена этому куражу и ему самому, Соломатину Андрею Антоновичу.

Соломатин уложил презент Павла Степановича в рабочий чемодан. Но решил: пойдет домой, выбросит фиговину в первую же урну.

7

Из утреннего выпуска «Дорожного патруля» я узнал, что ночью в Камергерском переулке совершено убийство. Меня отвлек телефонный звонок флейтиста Садовникова, его интересовали новости зимних футбольных переходов. Я что-то отвечал Садовникову, сам же ловил звуки телевизора, понял лишь, что обнаружен труп молодой женщины, лет двадцати пяти отроду. Показали стайку испуганных, но любопытствующих соседок. Мимо них вроде бы прошел Васек Фонарев, водила-бомбила, обещавший и мне привезти из Касимова воды.

В Камергерском я не был дней десять. Событие требовало похода в закусочную. Я ли не из породы московских зевак? По моим понятиям, дом с жильцами в Камергерском остался один. Висели на нем две доски с упоминанием имен Собинова и Кассиля и именно в нем принимала граждан общедоступная закусочная. Выходило, что убиенная должна была квартировать над ней, а потому не исключалось, что я ее видел с тарелкой солянки или хотя бы с яйцом при морской капусте. Хотя, конечно, что мне она? Столько этих убиенных людьми или стихиями приходилось наблюдать каждый день на стекле электронной лампы, что всяческое сострадание к ним будто бы раскрошилось. Но все те убиенные – от тебя далеке и «как в кино», то есть в холодной сущности иного измерения. Тут же – в двухстах метрах от тебя, а вдруг еще и знакомая?

Но нет, погибшую я не знал. И жила она не в том здании, какое я ей определил. Приходилось рассчитывать на оперативно-женскую осведомленность персонала закусочной. Хозяйками в ней в тот вечер были буфетчица Даша и кассирша Людмила Васильевна. Убитая, уже не одинажды обнародованная на трех каналах в криминальных программах (предвыборный политик позавидовал бы), Павлыш Олёна Николаевна квартировала, вернее снимала комнату не в парадном камергерско-собиновском доме, а в дворовом строении. «Там, за нашей кухней, ну ты знаешь», – указала мне кассирша. Двор был знаком не только мне, но и депутатам Государственной думы. Посетителям, отяжелившим себя прохладительными напитками, рекомендовалось посещать ватерклозеты в «Макдональдсе» за Тверской, у телеграфа. Наиболее же достойным гостям доверительно дозволялось проследовать к облегчениям через кухонную дверь во двор. Во дворе и стояли два корпуса, приписанные к Камергерскому переулку, там же имелись спуски в недра молочного магазина. Несчастную Олёну Павлыш, следовательно, чисто камергерской признать было нельзя. Тем более, что она явилась из какой-то Бутурлиновки завоевывать Москву. «Да видели вы ее, видели! – принялась убеждать меня кассирша Люда. – Бывала тут не раз. То одна, то с компанией». «Точно, видели!» – подтвердила буфетчица Даша, прекратив на секунду любезности с широченным, в скулах и плечах, негром, на мой взгляд, сорока годов. «Не помню, не помню...» – бормотал я. «Ой, ну как же! – воскликнула Даша. – Рослая такая, блондинка, ноги длиннющие, от клюва фламинго, но не костлявые». «Точно! – подтвердила Людмила Васильевна. – И пупок голый, зимой шубу скинет, а вы, мужики, на нее рты и раззявите!» «Да таких-то с длинными ногами и голыми пупками, – сказал я, – разве одну от другой отличишь?» «Но эту-то убили!» – удивилась мне кассирша, и удивление ее было убедительным. «Она еще к вам подсаживалась, – снова отвлеклась от собеседования с негром Даша. – Вы были тогда с этим... режиссером... Мельниковым, а она заказала у меня пиво с креветками». Логическая цепочка Даши тоже вышла убедительной: ноги от клюва – розовый фламинго – креветки к пиву. Но все равно от знакомства с Олёной Павлыш я отказался. «Ну не помните, и не помните!» – резко сказала кассирша, посмотрела на меня с неодобрением и прихмурью даже, будто я, не имея алиби, еще и придурился. То есть вполне возможный быть причастным к убийству, отрекался от подозрительного теперь знакомства.

И все же надо было выговорить хоть кому-то свежайшие, сдавливающие натуру знания, и Людмила Васильевна выговорила их мне. Обнаружила, для кого – тело, для кого – труп, старуха Курехина (Курехину-то я как раз знал и в закуской видел, ее – клоунессу, заслуженную артистку, снимавшуюся и в кино, к старухам можно было причислить лишь в цирковых измерениях). Курехина и ее муж, клоун и музыкальный эксцентрик, по причине устойчивой нищеты стали угловыми жильцами в семьях родственников, а квартиру («километр от Кремля...») сдавали американцам. Но со временем «километр от Кремля» вышел для колонистов из Нового Света обузой, и они вместе с офисом перебрались в выгодное и фешенебельное Марьино. Курехиным удалось подыскать на две комнаты умеренно озелененных сингапурцев, третью же приходилось теперь сдавать приезжим, рускожующим гражданкам, заимевшим, правда, для валютных уплат добросердечных почитателей. «Да видели вы ее, дядя Володя, – сказала Даша, – она то ли училась у вашего знакомого Мельникова, то ли поступала к нему...»

По поводу способов злодейства мнения разошлись. То есть для публики все способы были хороши, но какой из них был применен вчера, верно сказать не мог никто. Уж на что Людмила Васильевна добродетельно вела себя с милиционерами (а они в закускую заходили и еще зайдут и, наверное, оставили здесь кого-нибудь в костюме для присмотра за суждениями, «Не негра ли?» – спросил я), а и она от милиционеров ничего путного не вызнала. Темнили в интересах следствия.

– А не в строении ли Васька касимовского это случилось? – предположил я.

– В его, в его, стервеца! Этажом выше.

– Так может, гуманоиды влетели не в ту форточку, а поняв, что нарушили маршрут, озверели?

Неуклюжая моя шутка кассиршей не была поддержана.

– Жалко ее, – вздохнула Людмила Васильевна. – Красивая девка была. Но видать, не из затейливых.

Я пожелал поинтересоваться у Люды: а кто такие – затейливые, но к моему столу победно-громко направился легендарный и только что упомянутый в разговоре Александр Михайлович Мельников, театральное, киношное, мемуарное, телевизионное диво, или, если хотите, блюдо. Обеденное, вечернее и десертно-ночное. А с ним и симпатичный мне актер Николай Симбирцев.

– Здорово, старик! – приветствовал Мельников меня. – Рад, что вы здесь! Вы-то как раз поймете! Не то что эти... Мне, наконец, вырастили дерево!

– Какое дерево?

– Сейчас! Сейчас! – загрохотал Мельников и стал шарить в глубинах кожаного кофра.

– Александр Михайлович, – не смогла удержаться кассирша Люда, – а вы про Олёну-то Павлыш уже знаете?.. То есть уже слышали?

– Конечно! Конечно! Знаю, все знаю... А что с ней?

– Ну как же, ее ведь убили, – тихо, стараясь быть деликатной, произнесла кассирша.

– Ну да... Ну да... Беда-то какая! Мне первому и сообщили. Уговорили произнести сегодня вечером слова по первому каналу... – но тут нечто из системы бдящих правил заставило Мельникова утишить звук, а потом и замолкнуть. Все же он спросил шепотом: – А кто такая Олёна Павлыш?

– Я думала, она ваша знакомая, – сказала кассирша. – Такая красивая блондинка, двадцати пяти лет, рослая, жила в нашем дворе...

– Она еще сидела с вами за столиком... – подтвердила буфетчица Даша.

– Позвольте! – возмутился Мельников. – Да, я, конечно, знал Олёну Павлыш. Это – летчица. Герой Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. Бомбила Берлин. Есть мои воспоминания о ней. Мои и маршала Кожедуба.

– Нет, это не летчица, – растерялась кассирша, – это здешняя Олёна Павлыш...

– Не знаю я никаких здешних Павлышей! – Мельников, видно было, осерчал. – Увольте меня от незаслуженных знакомств! И не мешайте серьезному разговору с коллегой!

А к коллеге, то есть ко мне, было уже обращено с уважением и предощущением удовольствий, возможно, что и моих, коли способен я порадоваться удаче знакомого:

– Достаяю, достаяю дерево! Свиточек-то какой огромный!

Но извлек Мельников вовсе не свиточек, а рулон, склеенный из кусков чертежной бумаги, была попытка его развернуть, я увидел лишь важные слова «Родословное древо семьи...», и рулон сам собой свернулся.

– Ну и ладно, – сказал Мельников, – а то бы его пришлось метра на четыре растягивать, вон туда, за прилавок, на кухню, а там бы его залили или лапшой или шпротой недокушанной или еще какими помоями. На пальцах объясню...

Из объяснений на пальцах Мельникова, из его прыгающих слов, выходило, что архивные мальчишки и девочки («архидевочки»!) вырастили, наконец-то, родословное древо семьи Мельниковых, предварительный вариант, предварительный! Крюком одного из корней древа был прихвачен новгородский посадник Онуфриевич, чье имя выскребали на первых берегах, а раз новгородский посадник, то в подпочвенных слоях не исключался и Рюрик. В переплетениях же ветвей семейства Мельниковых кто только не обнаруживался! И Шуйские, и воевода Пожарский, и Сумароков (не случайно за Сумароковым – и президент Академии Художеств Оленин), и братья Орловы, и канцлер Бестужев, и Баратынский с Тютчевым, а через Баратынского – и Александр Сергеевич Пушкин, и декабристы Якушкин с Ястржембский, через Рындина – Галина Уланова, и даже эти, со свинцовыми крылами, теперь уже не стыдно говорить, Победоносцев с Леонтьевым...

– Такие удивительные связи, такие люди! – радовался Мельников. – Я в себя не могу прийти от открытого! Это я сейчас вскользь и летуче, а будет случай, доложу обо всем основательно... И про герб родовой доложу...

«Завтра, небось, обстоятельно по телевизору и доложит...» – представил я.

– Неужели у тебя на листочках и веточках не отыскились, скажем, кухаркины детки, – поинтересовался Симбирцев, – или незаконный сын Стеньки Разина, отчаянный какой-нибудь головорез? Или укротитель дворовой псины Герасим? Или неразумная барышня Вера Фигнер? Или разбойник из брянских лесов по прозвищу Шандыба? Или и эти у тебя есть, но нынче они – не модные, однако ты их держишь про запас, на всякий случай?

– Опять ты желаешь все ополщить! – вскочил Мельников. Но ожидаемая отповедь его была приостановлена приходом к нашему столику двух внимательных мужчин.

Движение их в теснинах закуской я наблюдал уже полчаса. В закусочную нередко являлись чужаки, скажем, будто бы миссионеры диковинных сект – то объединения церквей, то безопасной любви, то несокрушимой семьи – с предложением сейчас же снабдить их идеалы деньгами. Бранные слова не гасили их искательные улыбки, каждый столик был ими назойливо-деликатно отработан, всем предъявлялись какие-то карточки. Миссионеров, как правило, выпроваживали, лишь иногда особо нервный бросал им десятку с выкриком: «Только не лезьте мне в душу!». Нынешние внимательные мужчины вряд ли могли вызвать бранные слова (то есть произнесение их). Один из них был знакомый мне участковый капитан Егорычев (в штатском). Сопровождал он, судя по его суете, по крайней мере майора.

– К вам... граждане... товарищи... или господу можно обратиться с вопросами? – произнес предполагаемый майор, статный, вполне киногоеничный, из сериала, лет сорока пяти.

– Конечно, – сказал я. – Присаживайтесь.

– Спасибо. Подполковник Игнатьев.

Мы втроем кивнули, как бы подтверждая, мол, мы так и думали, что к нам подсядет подполковник.

– Вы, возможно, слышали, – начал Игнатъев, – что здесь во дворе произошло убийство. Вот и приходится докучать отдыхающим своими служебными интересами... Вы уж извините...

– Да ради Бога! – заулыбался Мельников.

– По нашим сведениям убитая, Олёна Павлыш, могла бывать в этом заведении. Я покажу вам фотографии, некоторые из них найдены в квартире убитой, просьба взглянуть на них, вдруг кто-то на снимках покажется вам знакомым...

Мельников Александр Михайлович намерен был, мне показалось, тотчас объявить, что у него эфир на ОРТ, ждет Костя Эрнст, он запомнил, разгильдяй, и надо бежать, но нечто колющее в его стуле пропало, и Мельников спасти эфир не помчался. Он даже первым забрал у подполковника фотографии. Перебирал их нервно, я подумал, что прежде всего он желал узнать, не запечатлена ли его персона в каких-либо компаниях на лживой фотобумаге.

– Нет, моих знакомых здесь нет, – в глазах Мельникова высветилось великодушное и желание способствовать правосудию.

Расхоже сказать – от сердца у него отлегло. Что не мог не заметить и подполковник Игнатъев.

– Вы не спешите, – сказал он, – вы взгляните еще раз... Снимки, конечно, неважные... Но вдруг с кем-то из их персонажей вы где-то пересекались...

– У меня глаз зоркий! – Мельников обиделся. – Об этом известно всем. Об этом писали братья Вайнеры. Поинтересуйтесь у них.

– Ну если братья Вайнеры, тогда конечно, – сдался подполковник. Он протянул часть фотографий мне, часть актеру Симбирцеву. – А вы не взглянете на лица?

– Отчего же, – сказал я. – Пожалуйста.

Но сейчас же сам обеспокоился, а вдруг и моя образина, пусть и на дальнем плане, вошла в обстоятельства криминальной истории? Впрочем, мне-то что беспокоиться? Нет, себя я нигде не углядел. А вот какая такая Олёна Павлыш начал догадываться. Буфетчица Даша права, я видел Павлыш в компании Мельникова. Мы обменялись наборами фотографий с Симбирцевым, ни звука при розыскных действиях не произнесли. «И тут нет знакомых, и тут никого, и тут, и на этом снимке...» – был вывод.

– Отчего вы вздрогнули? И остановились взглядом? – быстро спросил Игнатъев. – Кого-то узнали?

– Нет, – выговорил я нерешительно.

– И все же? – в голосе подполковника не было деликатности.

– Знаете... На самом деле лицо одной из девиц показалось мне знакомым... Может быть, я видел ее здесь... А может, и не видел... Это что и есть Олёна Павлыш? Вот эта, – и я указал пальцем на простенькую мордашку...

Девушку эту прежде я не видел. И в том, что она не Олёна Павлыш, был уверен. Олёну Павлыш я разглядел на летнем цветном снимке. Хоть давай на разворот глянцевого журнала. и в совершенном соответствии с аттестацией буфетчицы Даши. Рослая блондинка, ноги – от клюва фламинго, лишь сантиметров на пятнадцать защищенные от северных ветров джинсовой юбкой. Ну и так далее. Причем, к вешалкам-манекенщицам по причине нестесненности плечей и бедер Павлыш отнести ее было нельзя. Живописная эта особа, дитя небесное, способна была возбудить фантазии мужчин, вырвавшихся к благам из болот среднего класса. Добавлю, что в лице ее светилось несомненное благородство. Конечно, я видел ее в Камергерском, видел, и не мог не обратить внимание на упомянутые мною свойства ее облика.

– Нет, это не Олёна Павлыш, – сухо сказал подполковник Игнатъев. – Жаль, что такие наблюдательные люди ни единой мелочи нам не добавили. Но что поделаешь... И на том спасибо...

Силовые чины поднялись и последовали на кухню, чтобы продолжить, наверное, опросы персонала или направиться двором к корпусу убиенной.

– Не исключено, что нам придется и еще обратиться к вам за консультацией, – произнес напоследок подполковник, пожалуй, даже и с укором в голосе.

Минуты три мы сидели молча. Мельников, я видел, готов был сейчас же вскочить и объявить следствию публичный протест. Не вскочил. Симбирцев курил и глупо крутил зажигалку. А я нервничал. И вот от чего. На одной из фотографий в куче персонажей, разномастных, смешанных годами, и невдалеке от красивой в миг веселья Олёны Павлыш я увидел Андрюшу, Андрея Антоновича Соломатина. Давнего моего знакомого. Ничего о его жизни я не слышал более чем три года. А расстались мы с ним нехорошо. Я даже мог посчитать себя без причины обиженным. А потому говорить следователю что-либо о Соломатине при нынешних обстоятельствах мне не захотелось...

Мельников и Симбирцев сидели угрюмые. Симбирцев сходил за коньяком – «по пятьдесят». Подполковник Игнатьев не обременил нас, на манер героев Шелдона или Стаута, напоминаниями о ложных показаниях и юридической важности расследования убийства, до таких тонкостей розыскные и судебные дела в Москве еще не дошли. Но мне отчего-то было неловко и стыдно. И тревожно. Неужели у Соломатина по-прежнему все было наперекосяк? Но что я могу – или мог – изменить в его жизни?..

За соседним столиком смирно сидели пружинных дел мастер Прокопьев, знакомый мне еще по Столешниковой Яме, и пышноусый крепыш (сложение поэтического атлета Поженяна), этот, говорили, был с телеграфа. Чтобы отчасти отменить угрюмость застолья, я посчитал нужным пригласить к нам на свободные стулья телеграфного крепыша и Прокопьева.

Крепыш («Арсений Линикк», – протянул он мне руку) и Прокопьев к нам пересели, но ничего приятного от перемены ими мест не вышло. Мельников взглянул на Прокопьева хмуро, а Прокопьев и вовсе в его сторону не смотрел.

– Вы знаете, – обратился Симбирцев к Прокопьеву, – Александр Михайлович обрел родовое древо и герб. Герб этот обязательно будет присутствовать теперь не только на его деловых бумагах, но и на простынях, подушках, на всех составляющих нижнего белья, а уж диван-то его и кресла и вовсе станут невозможны без фамильно-гербовой маркировки.

– По поводу мебели Александра Михайловича, – сухо сказал Прокопьев, – это не ко мне.

– Ты, Николай, все же скотина и фигляр! – была резолюция Мельникова. – И так день, начавшийся удачей, испорчен. А ты и удачу мою пожелал осрамить ехидством.

Он поднялся в свирепости, откланялся нам, кассирше, буфетчице (вышло, что и негру), залу. И линейным кораблем последовал в океан.

– Ничего, ничего, успокоится, – заверил нас и в особенности Прокопьева сейчас же вскочивший Симбирцев. – Будут, будут у него у него гербы на письмах в бухгалтерию, и на кальсонах, и на туалетной бумаге, и на фарфоровых блюдах...

Очень скоро выяснилось, что из двух оставшихся моих собеседников лишь на душе у Арсения Линикка – смирение и покой. Пружинных же дел мастер Прокопьев выглядел угнетенным, теребил волосы над висками.

– Неужели вы, Арсений, – спросил Прокопьев, – на фотографиях так никого и не признали?

– Ну как же! Эту Павлыш, зверски убитую, кобылу здоровенную, лошадь в яблоках, – сказал Линикк, – я здесь видел, что и подтвердил.

– А вот рядом с ней, такую... плохо причесанную...

– Плюгавенькую, что ли? Нет, не знаю...

– А я думал...

– Нет, нет! – будто отрубил Линикк.

Прокопьев же соображал: Линикк несомненно должен был знать ту, плохо причесанную... Именно после ее резких слов, после ее ухода-побега и возник странным образом в закуской Линикк, и будто бы телеграфная лента поплыла перед Прокопьевым с мольбой о спасении... И мужчина лет сорока, запечатленный на снимке между Павлыш и той, Ниной, да, Ниной, фронт, но похоже и злодей, был вроде бы знаком Прокопьеву... Кстати, а не стала ли теперь именно Павлыш тем самым жертвенным существом, о каком невнятно, но со значением бормотал не так давно Линикк, объявлявший себя Гномом Телеграфа? А он-то, Прокопьев, неужто отложен? Эдакие странные расположения пружин получаются. Но стоит ли спрашивать сейчас об этом у Линикка? Незадача... А Линикк уже чуть ли не дремал, уснувшись в кружку с пивом. Муторно было на душе Прокопьева, слякотно...

– Людмила Васильевна, – спохватился я. – А что Васек-то касимовский рассказывает? Он-то, небось, очевидец. И соседку свою Олёну, небось, подвозил...

– Ой, ой! – вскинула руки кассирша. – Он как сегодня вбежал с желанием утолить, я ему говорю: «Не налью, пока не заплатишь деньги за отмену денег!» А он раскричался: «Ах так! Ах так! Да вас завтра же закроют из-за этого зверского убийства!»

– Закроют? – выплыла к прилавку повариха Пяткина. – Что же будет-то? Батюшки-светы! Николай-угодники!

– Не закроют, – сказал негр. – Я куплю вашу закускую.

8

На масленицу, в среду, Соломатин был удостоен чести посетить гостем дом Каморзиных.

Приглашением своим Павел Степанович Соломатина удивил. Никаких сближений натур после обретения в подвале Средне-Кисловского переулка сомнительной железяки, бочки так бочки, бакинского керосинового товарищества, так бакинского, у них не произошло. Соломатин не заводил разговоров ни о бочке, ни об Есенине. И Каморзин беседовал с ним лишь в смыслах производственных интересов. Угрозы или хотя бы дурные предсказания мажордома с хлястиком не подтвердились в реальности. Упрямо написанные Соломатиным отчеты (правда, без резких оценок мокрой девицы), ясно, что после визита в дом техника-смотрительницы и ее резолюции, пошли в дело. Но как будто бы не вызвали раздражений миллионщика Квашнина, напротив, ущерба он, говорили, возместил с лихвой, а музыковеду Гладышеву даже привез из Гамбурга раритетные издания статей Мендельсона-Бартольди о забытом филистерами, увлеченными пошлыми мелодиями своего века, композиторе И.С. Бахе. Щедроты Квашнина были оценены в деловых газетах. О смытых дерзостями Соломатина выгодах Каморзин не вспоминал ни разу, тем более, что выгоды случались у них в других местах.

Соломатин поинтересовался, какой причиной вызвано приглашение. Павел Степанович смутился. То есть никакой особенной и тем более круглой причины нет, заверил Каморзин, а так, привычное домашнее застолье. «Вот именно домашнее...» – сказал Соломатин. Ну и что, ну и что, воодушевлялся Каморзин, вот и посидишь в уюте да с блинами, соответствий никаких не надо, все в доме есть. А вот мужиков для его, Каморзина, общения нет, с его стороны – одни бабы, а все мужики – в жениной родне. Девки его все время пристают, отчего он такой нелюдимый, отчего не приводит в дом, хоть бы в шахматы поиграть или в шашки, кого-нибудь из своих коллег, лучше бы, конечно, годами помоложе. Приличных, что ли, среди них нет? «Не убудет же тебя, – заключил Каморзин. – Не понравится, уйдешь...» «Не убудет», – согласился Соломатин.

На всякий случай Соломатин купил бутылку «Гжелки» и две банки красной икры. Проживал Каморзин недалеко от метро «Пролетарская» в доме из предпочтительных, на первом этаже его выводили из клинических смертей часы, согласно гарантиям. Квартира Каморзина оказалось не тесной, в три комнаты. По московским понятиям – в две спальни. Деликатны наши московские понятия, усмехнулся Соломатин, скромны и деликатны. Восклицания Соломатина: «Какая кухня! Какая ванная!» вышли искренними, узнавать же историю обретения Каморзиным приличного жилья Соломатин не стал, вряд ли бы она удивила его. Но Павел Степанович, сам при этом будто бы стесняясь житейской удачи, разъяснял: «Райисполком... очередь... рабочий класс... я, то есть...» Представлен был Соломатин жене Каморзина Фаине Ильиничне и трем его дочкам. Фаина Ильинична, работавшая инженером на химическом заводе, дама в соку, крупная, пышноволосяя, с ровным откатом розоворыжих волн к затылку, отчего-то показалась гостью похожей на экскурсовода Политехнического музея. «Причем тут музей! Что за чушь!» – отругал себя Соломатин. Одеты Фаина Ильинична была скорее строго, нежели празднично или, предположим, весело. Толстые высокие каблуки возводили эту строгость в прямоту. «Прежде всего она женщина – степенная и опрятная», – решил Соломатин. И в доме Каморзиных все выглядело степенным и опрятным. Даже мелкие шурупы в дверных ручках. Не удивили Соломатина и книжные полки в гостиной и в «покоях» Каморзиных взрослых. Фаина Ильинична была прилежной читательницей и платила взносы в обществе книголюбов. И украшение комнат было – степенное, на стенах висели репродукции, Левитан, Кустодиев, Врубель, а кое-где, под стек-

лами, – вышивки здешней мастерицы, с узорами и сюжетами – Аленушка тоскует по братцу, старик тащит невод с рыбкой, и даже некий работник в синем комбинезоне, с разводным ключом в руке, из ключа произрастает роза, возможно, работника вышивали с самого Павла Степановича. Понятно, виднелись за стеклом серванта хрустали, гжельские и богородские поделки, и прочее, и прочее, привычное. Словом, квартира была среднего московского инженера без затей и богатств.

Впрочем, гостиную и «покои» Соломатин оглядел как бы мимоходом (а детскую ему и не показали). К застолью он опоздал, и Каморзины торопились направить Соломатина к блинам. Свежему гостю, естественно, обрадовались. Но вспышка радости ограничилась штрафной рюмкой. Далее все продолжили свои беседы. Лишь две соседки и Фаина Ильинична приглядывали за Соломатиним, горками украшали его тарелку и направляли его вилку. «Эти блины на молоке, а эти на кефире...» «Чем же они хороши на кефире-то?..» «Ну как же, как же! – вышло возражение. – Кайфу больше! Вот Муравьева пробовала на йогурте, и вышли сладкие оладьи». Понятно, что Соломатину были рекомендованы благодудовольствия к блинам. Сметана, масло растопленное, рыба красная, красная же икра, селедка, варенье с дачи, соленые грибы, клюква, протертая в сахаре, горячие сосиски (хочешь – сотвори хотдоги), а также прожаренная до сухости, мелкая, будто корюшка, печорская навага («Печорская, только к масленице и бывает, вы хребет из нее извлеките, заверните в блин, макните в горячее масло...»). Соломатин последовал совету и получил удовольствие.

Гостей сидело за столом человек пятнадцать. Все более в возрасте Павла Степановича и постарше. Присутствовало и молодое поколение – три дочери Каморзиных и их кузены – юноша и девица лет двадцати трех. Рассматривать дочерей напарника у Соломатина особых возможностей не было, он лишь уверил себя в том, что они – разные, и именно не по годам, а по облику и натуре, то есть будто из разных семей, разной породы. А вот племяннице Елизавете гостем было уделено больше внимания, он нет-нет, а взгляды на нее поворачивал с блинных гор и салатниц с солеными грибами. Но делал это, как бы не желая, не по своей словно бы воле. Эта племянница Елизавета, выходит, вытягивала из него взгляды. Буравила нечто в нем. «Она смешная», – нашел объяснение Соломатин. В этом установлении кочевряжилась опасность. Смешными Соломатин признавал особ ему симпатичных. Впрочем, что смешного было в этой баловнем сидевшей за столом девице? Если только уши. Они торчали, действительно, забавно. Ну и все. Ну, приглядная и не вульгарная. Веселая, шумная, светится, – но ведь в своей компании, однако чувствовалось, что и в любой компании она не скиснет и не растеряется, а если сложится сюжет и выйдет кураж, то и на столах спляшет. Угадывались в ней своеволие, а то и дерзость. «Да что это я? Таких-то пруд пруди, обычная капризная шалунья, что на нее пялиться? – осерчал на себя Соломатин. – А вот с печорской навагой и подгруздями солеными каждый день не отобедаешь!» Однако, когда (а еще не иссякли блины и не состоялось приглашение к чаепитию с тортом) Елизавета поднялась, синюю ленту стянула с головы, отчего темнорусые волосы ее рассыпались и укрыли остроту ушей, заявила, что извините, надо нестись, дела, дела, может еще вернется, и убежала, Соломатин опечалился. Раздосадовался даже. Будто эта самая племянница Елизавета нарушила некую тайную договоренность с ним. Или по крайней мере не выказала к нему интереса и уважения.

А к нему и никто за столом не выказывал интереса или особого уважения. Разве только соседка, предпочитающая в тесте кефир. О занятиях его знали, а потому не ожидали от него увлекательных суждений или сведений. Властителем интересов за столом оказался нынче шурин Каморзина Марат Ильич, крепкий, лысый мужчина с лицом зубного техника. Марат Ильич был доктор наук и, как выходило из беседы, заведовал магнитными полями. На руке у него имелся магнитный браслет якобы с бастионными для здоровья целями, к солнечному сплетению Марата Ильича – ради имиджа института – спускалась цепочка из магнитных

колец, на нее зарились несмышленные новые русские. По убеждению Марата Ильича и по его науке, нефтедоллар скоро, не позже, чем через четверть века, будет отменен, нефть, уголь, ураны и плутонии, как источники энергии, прикажут долго жить, а процветанием человечества займутся магнитные и иные, родственные им поля.

– Неужели ваши магниты, – засомневалась соседка, предпочитавшая добавлять к муке молоко, – способны излечить воспаление седалищного нерва?

– Способны, – Марат Ильич поморщился мелочности вопроса.

– А вот, скажем, трения... или там взаимопроникновения магнитных полей... или даже иных – с ними... – робко поинтересовалась сторонница кефира, – не могут ли они вызвать новый... и нежелательный... виток сексуальных падений?

– Не исключено, – сердито сказал Марат Ильич. – Но серьезных ученых это не должно волновать.

Высокомерие Марата Ильича, вполне возможно, обоснованное, возбудило раздражение Соломатина. А может, разыграла досада из-за взбалмошного ухода шалуньи капризной, из натуры Соломатина не изощренная. Соломатин решил съязвить. Он пожелал поинтересоваться, как рассудил бы наш ученый муж соображения персонажей «Серапионовых братьев» двухвековой давности о модных тогда и как будто бы всемогущих явлениях – магнетизме и месмеризме. А если бы оказалось, что Марат Ильич эрудит, Гофмана читал, и сумел бы примагнитить магнетизм Месмера и ночные бдения естествоиспытателей к своим полям, либо же, напротив, угнал бы Месмера в измерения безрассудства, Соломатин тотчас же преподнес бы и еще вопросец. А не помнит ли почтенный Марат Ильич, какой чай заваривали в Берлине опровергатели и поклонники магнетизма? У Гофмана написано – кяхтинский чай. Судьба заносила Соломатина в Кяхту с торговыми рядами и храмами времен Елизаветы на границу с тугриками и аратами. Но в Кяхте чай не произрастал. Однако, сюда, на окаянную империю чай прибывал из Китая. Удивительным некогда показалось Соломатину берлинское выражение да еще и попавшее в «Серапионовы братья» – «кахтинский чай»... Но охладив себя, Соломатин ехидничать раздумал. К тому же к нему подсел Каморзин.

– Ну как, Андрюша, червячка-то заморил? – спросил он.

– Да вы что, Павел Степанович! – воскликнул Соломатин. – От стола надо бежать! Но слаб я в масленицу, слаб!

– Ну вот и славно, – разулыбался Каморзин. – Я, стало быть, могу утянуть тебя на пять минут к своему интересу...

Тут и открылась причина приглашения Соломатина к блинному столу.

По дороге в «покои» Каморзин (можно сказать, что и робея) посвящал Соломатина в свой интерес:

– Я тебя чертежик один попрошу посмотреть... Точнее, набросок, скажем, первоначальный... Эскизик постамента...

Главами раньше приводилось первое впечатление многих о внешности будто бы звероподобного сантехника Каморзина: мордорот и злодей, а может – и убийца. Нынче Павел Степанович надел выходной темносиний костюм (двубортный, тройку), пошитый, наверное, лет пятнадцать назад с лишними, из-за особенностей фигуры заказчика, примерками, и никак не походил ни на зверя, ни на злодея. Очки же, вздетые им на нос, совершенно лишали критиков Каморзина возможности признать его лупоглазым. А черные кусты над очками вызвали сравнение со значительнейшими бровеносцами эпохи. Соломатин знал: в часы отдохновения Павел Степанович носил махровый халат, и в халате с вышитыми Фаиной Ильиничной по синему фону королевскими пингвинами он вряд ли бы внушил кому-либо дурные подозрения.

В «покоях» Каморзин пригласил Соломатина к небольшому столу с выдвижными ящиками, возможно, самодельному, но изготовленному с изяществом. К рассмотрению Солома-

тину были предложены несколько листов. Соломатин чуть ли не присвистнул, чуть ли не вскричал: «Вон чему учудил Павел Степанович соорудить постамент!»

Бочке Есенина!

Теперь Соломатин углядел на стене возле трельяжа Фаины Ильиничны скромный картонный квадратик с ликом – кудри, березка и прочее. Более ничего мемориально-есенинского (кроме книг, понятно) в квартире им замечено не было.

– Что-то уж больно незаметный он у вас... – не удержался Соломатин.

– А-а! – махнул рукой Каморзин, – Чтоб девчонки не насмешничали... И так уж они...

– Понятно, – кивнул Соломатин.

– А реликвию, – в голосе Павла Степановича возникла твердость, – я установлю на даче. Пусть кто-то ехидничать станет, а кто-то пальцем у виска покрутит, но решения я не отменю... У меня место есть хорошее, там береза и елочка молоденькая, под ними и поставлю... Вот, Андрей Антонович, взгляни на рисунок...

– Береза и елочка – это хорошо, – сказал Соломатин на всякий случай.

– Реставрировать бочку я не буду... как тело цилиндрическое... нет... Еще рассыпется... Да и глупо было бы. На всех участках у нас стоят обязательные бочки для пожарных нужд. К тому же металлическая плоскость с углами и изломами куда живописнее... На мой вкус...

– Согласен с вами, – сказал Соломатин всерьез. – И сам Малевич вас бы поддержал.

– Хоть бы и Церетели, – бросил Каморзин и продолжил: – А вот с постаментом выходит большая заковыка. Или с пьедесталом. Как оно вернее-то?

– Можно и так, а можно и эдак.

– Вот тут и фортель-мортель. Из чего делать основание? Для реликвии. Бронза и мрамор для Сергея Александровича совершенно не годятся. Они были милы горлапану-главарю, хотя тот лукавил и отрекался от многих пудов цветного металла... Хороши были бы дерево или валун. Но валунов у нас в окрестностях нет. Ствол-то, хоть и дубовый, я найду, колодину, чтобы в нее пластину бочки вставить, я сооружу. Просмолю ее, лет на семьдесят хватит. Но ведь и колодину надо во что-нибудь вставить. Котлован для нее засыпать и низ ее обложить, скажем, простым камнем...

– Булыжником, например, – предположил Соломатин.

– Да ты что, Андрей Антонович! Окстись! – воскликнул Каморзин. – Булыжником! Булыжник опять же для Владимира Владимировича!

– Действительно, – согласился Соломатин. – Не подумал я.

– Уж лучше кирпичом обыкновенным. Из кирпичей ведь и в селах дома ставили.

– И церкви...

– Вот-вот! – воодушевлялся Каморзин. – Только раствор тут нужен особенный, как для тех церквей, на яйцах, что ли, или на меду, узнаю у реставраторов... Значит, ты советуешь кирпичи...

«Помилуйте, Павел Степанович, какие я вам могу дать советы!» – хотел было заявить Соломатин, но промолчал. В советах не было у Каморзина надобностей. Все он решил, все обмозговал. Но не мог он уже держать запертой в узилищах собственной натуры благую мысль, ему нетерпелось объявить человечеству о приготовлении им мемориала. Стало быть, одинок был Павел Степанович Каморзин и при том неуверен в себе. Необходим ему стал доверительный разговор с Соломатиным, относительно которого он, возможно, находился в заблуждениях. Вот и пригодилась масленица...

– У меня на даче – на чердаке и в чулане, – продолжил Каморзин, – хлам всякий. Бытовой антиквариат. От стариков моих. Керосинка там есть и примус двадцатых годов... ровесники бочки... Взять да и поставить их по бокам... А?

Соломатин промолчал.

– Вот и я так подумал! – быстро заговорил Каморзин. – Приземление получится... Даже смешно может выйти... А так пластина и стелой смотреться будет...

– Наверное, – пробормотал Соломатин.

– А что в шкатулке-то лежало? – спросил Каморзин.

– В какой шкатулке? – удивился Соломатин.

– Ну как же! Ну хотя бы не в шкатулке, – сказал Каморзин, – В коробке, может быть, или в футляре, или в пенале... Я и сам тогда не разглядел толком, в Средне-Кисловском... Что там было-то?

– Я не знаю... – сказал Соломатин. – Я и не открывал коробку...

Он и, действительно, коробку не открывал. Соломатин и не помнил даже, выбросил ли он в тот ноябрьский день подношение Павла Степановича в уличную урну или же притащил его в рассеянности домой (а причины тогда быть рассеянным и безучастным ко всякой ерундовине имелись), и теперь, может быть, вовсе бесполезный для него предмет лежит где-нибудь, засунутый в некое укромное место. Если лежит, случайно вдруг и обнаружится. Когда-нибудь. Сегодня же вечером разыскивать предмет – бессмысленно. Прятать что-то и тут же забывать, где спрятал, с детства для Соломатина было привычным делом. Но скорее всего, он и вправду сразу швырнул коробку в урну на углу Брюсова и Большой Никитской...

– Не было случая, – пробормотал Соломатин растерянно. – Но сегодня же...

Каморзин тотчас же ссутулился, а ходил нынче прямой, губы его зашевелились, явно Павел Степанович обиделся.

9

Затруднительное положение Соломатина было отменено птичьеголосым явлением в «покои» трех хозяйских дочерей.

– Это что же, батяня, вы забрали от нас молодого человека?! – воскликнула старшая из сестриц.

– Во! Девочки-припевочки! – то ли обрадовался, то ли растерялся Каморзин. – Саша, Маша и Палаша. Это – по старому. А по их разумению – Сандра, Мэри и Полли. Сестры кроткие, благочестивые! Крылышки отрастают на лопатках. Пахучие, пушистые. Будем стричь на оренбургские платки!

«Манера, что ли у него такая в общении с чадами? – удивился Соломатин. – Аж слезы блеснули в глазах. Или он вынужден юродствовать передо мной? Странно, странно, шутю Павел Степанович вроде бы себя на моей памяти не проявлял».

– Началось! – поморщилась Саша-Александра-Сандра. – Пойдемте, Андрюша, в наш девичий пансион.

Среднюю дочь Каморзиных, вспомнилось Соломатину, тринадцати лет, звали Марией, младшую, девяти лет, – Полиной.

Девичья, полом просторнее «покоев», но чрезвычайно тесная из-за перенаселения народом и атрибутами девичества, гремела колонками аудиосистемы. Первое же, что бросилось в глаза Соломатину, будто карточка любимой лейтенанту Шарапову в подвале продуктового магазина, была солидных размеров, метр на метр, физиономия Моники Левински. Почти три стены девичьей были обклеены, обкоплены, увешаны фотографиями, картинками с действиями каких-то людей, постерами из глянцевого журналов, обложками дисков и музальбомов, вещичками, что ли, и еще неизвестно чем. Соломатин, и так ошарашенный уводом в неожиданную для него компанию, соображал неуклюже, раскрошив внимание, и для него кроме рожи малопривлекательной ему Моники Левински всяческие подробности стен воспринимались бессмысленными пятнами. Потом, а по ходу разговора – и тем более, кое-какие смыслы стали доходить до Соломатина. В частности, вблизи Моники на бумажных лентах читались на стене слова, выведенные крупными буквами, надо признать, искусным шрифтовиком. В них шла игра с утверждением, вбиваемым в голову всем поколениям бывшей шестой поверхности суши. Слева от героини Овального кабинета висело «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно». Под самой же Моникой призыв был звонкий: «Жизнь надо прожить так!» Позже Соломатин углядел среди удостоенных чести разместиться рядом с Моникой – Аллу Борисовну и Лолиту, этих отчего-то – головами вниз (а под Лолитой и рекламу рекордно действующего порошка «Би макс», только им можно отстирать белье Лолиты).

– Так что мы будем делать с вами, друг вы наш милосердный? – спросила Александра.

– В каком смысле?

– Чем вас развлечь? И чем вы нас будете развлекать?

– Вы хозяйки... – развел руками Соломатин.

– Я прихватила две бутылки красного, полусухого, к блинам они – дурной тон, а из холодильника можно брать пиво старика Каморзина, – сказала Александра.

– И мне пиво! – заявила младшая, Полина.

– Ты выбрала кока-колу, – жестко сказала Александра. – И навсегда. Возврата нет.

– Завтра утром Павлу Степановичу пиво болезненно понадобится, – сказал Соломатин.

– Э-э! С утра и сбегает в палатку. Полли, броском к холодильнику, ты у нас самая бóрзая! А вам, Андрюша, можно продолжить и водочкой. Мэри, тебе вина?

– Иес! – кивнула средняя, Маша.

– А вы, Андрюша, доктор наш милосердный, – подмигнула Соломатину Александра, – глазик-то на нашу Лизочку положили, это все заметили!

– Отчего вы, Александра Павловна, – поинтересовался Соломатин, – называете меня милосердным да еще и доктором? – Ну а как же? Старик Каморзин сказал, что вы доктор. От каких напастей вам положено врачевать?

– Он ввел вас в заблуждение. Павел Степанович посмеивался надо мной, называя «студентом». Я же по глупости разворчался, заявил, что студентом я побыл в одном именитом вузе, но не медицинском, получил диплом, и по европейским установлениям именовать меня следует д-р, доктор. А Павел Степанович насмешку надо мной укрепил.

– Дыр! – обрадовалась Маша, изо рта ее пузырем вылетела жвачка, но тотчас и вернулась к зубам.

– Именно, что Дыр! – произнес Соломатин чуть ли не горестно.

Александру Павловну разъяснения Соломатина, похоже, разочаровали. Но она продолжила нападение:

– А на нашу Элизабет вы посматривали! Да и она на вас взглядывала с интересом!

– Дровишки откуда? Из лесу вестимо! – сообщила Полина и поставила на пол три бутылки «Арсенального».

– И никаких «Макарен»! – прорычала Александра. А к Соломатину обратилась любезно: – Но должна предупредить. Насчет Лизаветы не обольщайтесь. А что мы все на «вы» да на «вы»?

– Я, следуя приличия, – сказал Соломатин. – А вы – от того, что я для вас ящер юрского периода.

– Какой вы кокетливый, – рассмеялась Александра. – К тому же нынче в моде пожилые бойфренды, на голову короче подруг. Но ты-то... Вы-то ростом не обижены... Давайте на брудершафт и перейдем на «ты». А я расскажу про Элизабет.

– Не тормози! – поддержала сестру Маша. – Сникерсни!

По разумению Соломатина, человека (его, ее), обогатившего соотечественников словечком «сникерсни», стоило бы в выходные дни выставлять, скажем, по соседству с диковинными птицами в зоопарке или катать на нем, как на пони, детей, за плату разумеется, а в будние дни возвращать в люди. Разумения своего Соломатин не высказал, а выпил протянутое и чмокнулся с Александрой Павловной Каморзиной, чмокание вышло протяженным и приятным.

Старшеклассница Александра (Соломатин испросил разрешения называть ее Сашенькой) подругой модного пожилого бойфренда не смотрелась. Ростом не вышла (ну сто семьдесят сантиметров, что ли, куда до Эль Андерссон), узкая в кости, худенькая, с острыми плечиками и небольшой головой, хрупкая, поначалу она производила впечатление именно барышни. Ан нет. Очень скоро Соломатин уразумел, что перед ним женщина, и по старомодным определениям, женщина – интересная и ладная. («гибкий стан благородный» – пришло даже в голову Соломатину). Тотчас же было отменено признание Сашеньки хрупкой. Голубое (к цвету глаз) с палевыми разводами шелковое платье старшей сестры (предположение Соломатина о том, что оно хозяйкой и сшито, возможно, и под присмотром Фаины Ильиничны, позже подтвердилось) было скромным (до колен), но и откровенным: взгляните, какие у вашей собеседницы благодетеля природы, какая грудь и какие бедра, восхититесь ими.

– Андрюшенька, что ты на меня так смотришь? – подняла брови Александра. – У тебя просто плотский взгляд. – У меня всего лишь одобряющий взгляд, – сказал Соломатин. – И потом. То я на Лизавету глаз положил, а теперь – на тебя. Не много ли во мне чувств?

– Нет, это я к тому, Андрюшенька, – принялась вразумлять Соломатина Александра, – что ты мог подумать, будто у меня там силиконовые холмы. Или гель. Нет. Был бы случай, я

бы тебе показала, что шрамов там нет. И места эти у меня не холодные. Гены, Андрюшенька, гены! Мне повезло!

– Иес! Уэлл! – воскликнула Маша. – Bay!

– Не пытайтесь договориться с тараканами! – вскинула руку Полина. – Приобретите «Машеньку» и всем тараканам – конец!

Сейчас же был снят туфель с ноги и направлен в голову Полины.

– Сразу и по кумполу сфинкса! – оценила действия сестры Полина. – Сделай «Дью»!

Тут, полагаю, уместно сообщить достославным читателям о том, какие чувства вызывали у Соломатина средняя и младшая дочери напарника. Маша во все время разговора в девичьей возлежала головой к спинке дивана, ноги то опускала на пол, чтобы размять пальцы или почесать икры, то водружала на столик с колесиками, где и размещались напитки и деликатесы. В тринадцать лет она была выше Александры и раза в два толще ее. В древние времена ее бы дразнили: «Жиртрест, мясокомбинат, промсосиска!», теперь же в школе величали словом «Тело». При этом ее нельзя было признать пухлой или рыхлой, она была пышная девица, отчасти – лениво-громоздкая, что, возможно, ей и нравилось, рыжие, нарочито взлохмаченные волосы (под Анастасию) как бы подчеркивали ее громоздкость, одежда Мэри-Маши была домашней – свободный свитер и свободные шаровары, туфли же ее скорее походили на шлепанцы. Возлежа, она занималась лишь работой со жвачкой, иногда попивала вино и курила. Жвачку изо рта не выпускала, а загоняла ее в защечный, хомяковый угол.

А девятилетняя Полина все время егозила. Все время была в движении, при этом то пританцовывала, то напевала (звучание системы она решительно приглушила). Можно было предположить, что она, девочка смазливая, милашка, о чем ей, наверняка, не раз было сказано, в возбуждении домашнего праздника просто выкаблучивается перед сестрами и гостем – детям свойственно. Но в иные мгновения казалось, что все ее пластические и вокальные экзерцисы исполняются ради себя самой, натура требует. И если бы не было в комнате сестер и гостей, она бы крутилась и нечто изображала еще смелее и с большим удовольствием. Вот она, закрыв глаза, не видя никого, затащила «Макарену», но с какими-то странными словами, вот она (уже во время рассказа Александры о кузине Елизавете) руку в бок уперла, правой же платком замахала, поплыла в русском, но тут же движением живота напомнила танцовщиц Востока. Вот она присела в телевизионную позу и принялась вертеться вокруг обязательной палки. Вот она, расставляя ступни в позицию «художницы», швырнула в небо невидимую булаву и, выгнув спину, балетными руками падающую булаву изловила (действительно, выяснилось, занималась в секции художественной гимнастики). Были и «рэп», и прыжок в шпагат, и прочее. «Грация, у нее несомненная грация!» – оценил Соломатин. Но сейчас же и обеспокоился: а не заявит ли Александра, что он и на ребенка глаз положил. А может, Павел Степанович и еще одну сверхзадачу держал в голове, зазывая в дом коллегу из молодых? Ну и что, успокоил себя Соломатин, ситуация для него могла возникнуть лишь комически забавная, но никак не опасная.

– Вот видите, Андрюшенька, – заявила Александра, – в каком аду, среди каких чудовищ мне приходится находиться. Но вернемся к Елизавете. Кстати, это она преподнесла мне портрет Моники. Дома у нее на стенах три Моники в разных позах. Но может произойти поворот в ее судьбе, и тогда Монику придется выкинуть. Если она добудет папашу.

– Не понял, – сказал Соломатин. – Ее отец Марат Ильич открывал сегодня за столом магнитные перспективы...

– Марат – ее дядя, – сказала Александр. – Отец Лизаветы, паспортный, в дом сегодня не был допущен. Ты не перебивай. Для тебя же стараюсь, может быть, в ущерб лучшей подруге. Чтобы не случилось с тобой оплошности.

– Это смешно, Александра Павловна...

– Насчет Павловны мы еще поговорим, – резко сказала Александра. – А если смешно, то и посмейся. Лизка – девка замечательная, но с идеей в голове. А ты не Клинтон и не Павел Буре. Меня она одарила Моникой, а эту козявку-игрунью – Курниковой. Вон там наклеена эта обирала с голыми ногами среди барбюшек и симпсонов нашей Полли. Правда там есть еще и Абдулов, Александр, но это по-глупости...

– С тобой все в порядке? – поинтересовалась Полина, подпрыгнула и снова опустилась в шпагат.

Минуты три она сидела в шпагате, не однажды доставая лбом пола, явно посвящая свои поклоны портрету Моника. Потом вскочила.

– Это не я, – заявила Полина. – Это Александра с Лизаветой молятся святой Монике.

– Вот вредина! – рассердилась Александра и, видно, что всерьез.

И тут она принялась будто бы оправдываться перед Соломатиним. Да, она не разорвала подаренный ей портрет, а скотчем прикрепила его к стене. Чтобы взглядывая на него иногда, подумывать о женских удачах и неудачах в нынешние времена. Дальше Соломатин выслушивал то ли соображения кузины Елизаветы, то ли изложение ее «идеи в голове» в восприятии Александры Каморзиной. Женщина, по этой «идее в голове», так уж выходит по мировому устройству, хотя и имеет удовольствия, существо все же страдальческое. Успехи в пору матриархата или в резервациях амазонок были скоропроходящие. Даже блистательная Скарлетт О'Хара в отношениях с ураганами эпохи и Кларком Гейблом (тут в суждениях Александры либо Елизаветы начиналась мешанина или ерундовина, какую Соломатин решил воспринимать без критик), даже Скарлетт О'Хара была страдальцей. И потому им следовало рассчитывать лишь на свои женские особенности и предназначения. Для горящих изб у нас хватало пожарников. Примеры Анки-пулеметчицы и героинь-трактористок, с рекордами собиравшими сахарную свеклу, Елизавету (и надо полагать, Александру) не вдохновляли. В фото-модели или в звезды – дорожки вели кривые и заметенные поземкой. В леди Д. у Елизаветы и Александры пробиться не было возможности. Что уж тут говорить о Монике Левински. Ее восхождению к славе и деньгам российским барышням оставалось только завидовать. Даже если бы случилась у кого-либо из них удача в отечественном Овальном кабинете, об их пятне узнали бы лишь трое охранников, ни в какие ТВ-программы их морды бы не допустили, при лучшем же исходе – всплыл бы анекдотец на пять строк в «Мегаполис-Экспресс», и все. Поэтому Елизавета решила устраивать судьбу без всхлипов и без претензий на штурм королевских или президентских покоев. По первому заходу у нее был опыт с дойче гражданином Гюнтером Зоммером (вроде того фамилия), фирмачом. Шустрый такой Гюнтер, подвижный, веселый, добрый в своем роде, не совсем старый, чуть больше сорока. Только что лысоватый. Он уже года как три имел в Москве бизнес и на каком-то фуршете Лизавета ему приглянулась. Относился он к ней, можно сказать, классно, водил в рестораны, подарки делал не из пустяшных и по существу жизни. Но в отношении юридически долгосрочных решений колебался, чем Лизавету удручал. И пришлось ей применять уловки. Простенькие, но кому-то создавшие и удачи. Сама к дням любви приносила в номер Гюнтера презервативы, при этом прокалывала их штопальной иглой... Тут Соломатин не сдержал моментального скоса глаз в сторону Полины.

– Какой ты, Андрюша, наивный! – рассмеялась Александра. – Да у них в школе уже в первых классах просвещают про эту технику безопасности!

– Коварный дон Эстебан, ты опозорил меня на весь Каракас! – восклицание свое Полина оснастила жестами сериальных красавиц. – И все твои жирные нефtedоллары не смогут отмыть мой позор!

Соломатину было неловко. Да что значит неловко? Положение его было глупейшее. Следовало сейчас же найти пусть и самый грубый повод (с желудком неприятности!) и покинуть не только девичью сестриц Каморзиных, но и дом с гарантийным ремонтом часов. Но

то ли его опасно разморило после блинов с водкой, то ли чуть ли не болезненное любопытство возбудилось в нем, Так и остался он сидеть. Возникла загадка, и она знакомо притягивала к себе Соломатина. Нынче такая: отчего девочка-барышня-женщина из старших классов взялась одаривать постороннего мужика, помоложе годами шустрого Гюнтера, но все же – из употребленных, (а может – и младших сестер) сведениями из житейской доктрины лучшей подруги? И не так чтобы особенно внимательно вбирал в себя слова Александры Соломатин, иные мимо него, сомлевшего, пролетали. Порой он спохватывался: ах да, что-то пропустил. Но зачем он Александре? Ладно, папеньке он потребовался якобы для совета, пожалуйста, но ей-то он зачем? Ну, предположим, она болтунья и рюмку осушила, а с родственниками – скучно. Нет, нет, не в одной болтливости было дело. Что-то Александру держало в напряжении, а, возможно, угнетало или злило. Носик ее был прямой, с острым и чуть удлиненным кончиком, не то чтобы хищный, но иногда будто бы воинственный, а при некоторых движениях лицевых мышц ноздри рассказчицы чудились Соломатину злыми. «Что за чушь? – размышлял Соломатин. – Как это, ноздри и злые?» Но что было, то было. Глаза, именно ноздри и верхняя губа, чуть вздернутая и приоткрывавшая передние губы Александры, и выражали сейчас для Соломатина чувства, а может быть, и сущность старшей дочери Каморзина. В них были – то воодушевление, или даже восторг, то удивление, то страсть, то каприз, а то и злость или неприязнь к кому-то...

– Я про Елизавету, – будто бы разбудила его Александра.

10

Так вот, уловки Елизаветы к удачам не привели. Шли месяцы, проколы теперь уже вязальной спицей в резиновых изделиях продолжались, Елизавета не залетала. И не залетела. А в соображениях Елизаветы для нее были хороши как и беременность, так и появление на свет (в каком-нибудь кельнском роддоме) детеныша. Натуру Гюнтера Елизавета для себя выяснила. Конечно, он жил расчетами, но все же был скорее не повеса и прохиндей, заимевший подругу из-за эротической необходимости и по сниженным расценкам (это уже перевод Соломатиным простых слов Александры), а человек добродетельный, его посещала совесть. Если он даже не любил Елизавету всерьез, то во всяком случае привязался к ней. Не исключалось (при варианте беременности), что Гюнтер, узнав о близком своем отцовстве, возрадуется, возликует, совместит расчеты с симпатией, вступит с либер фройлен в брак (она готова была принять и лютеранство) с естественным обретением Елизаветой европейского гражданства. В случае (более вероятном), если бы Гюнтер не прослезился, не стал бы закупать коляски и чепчики, Елизавета продолжила бы поход, плод сохранила бы и родила крепыша. И опять же не исключалось, что при показе отцу крепыша (названного к тому же Гансом или, скажем, Гельмутом) Гюнтера посетила бы совесть и было бы к удовольствию сторон заключено соглашение (и подписано!) в целях благополучия ребенка. А там Елизавета посмотрела бы. Опять же она была согласна на два варианта. Первый – Гюнтер выплачивал бы, заботился (подарки) и возил сына на прогулки в Германию. Второй (более завлекающий) – перестал бы платить или что-нибудь нарушил в соглашении. Тогда в бой! Тогда скандал! Тогда бумаги в суды, в том числе и европейские. Есть же примеры. Судится некая дама, из актрис, с парижским обывателем по поводу жизненного устройства дитяти. Интервью, фотографии, голодовки в надежде на сытые ужины, плачи на слуху двух континентов, президенты обеих стран с глазу на глаз обсуждают судьбу дитяти. Потом, глядишь, выйдет книга предварительных воспоминаний. Не Моникин случай, но все же. Елизавета и к нему была расположена.

Но увы! Увы! Не залетела. Плацдарм для дальнейших решительных наступлений и одоления цитадели не был завоеван. (Тут, возможно, был использован словарный запас паспортного отца Елизаветы, отставного капитанишки). А Гюнтер, закончив дела, убрался в родной Карлсруэ, ничем барышню не обнадежив. Кстати, о проколах штопальной иглой, а потом и спицей Гюнтер знал. И одна из закадычнейших подруг Елизаветы ему рассказала («Не я! Не я! – сейчас же вскричала Александра. – Неизвестно, зачем это дурехе понадобилось...»). И сам Гюнтер догадался о простодушном приеме, не лопухи же немцы, и вовремя принял меры самообороны. О чем перед убытием в Карлсруэ поставил Елизавету в известность. Сказал, вкушая при этом с Элизой шампанское, что он на проколы несколько не обиделся и что ему даже симпатична ее романтическая шалость. Но он был уже отрезанный ломоть.

Грустно, конечно, было провожать в безвозвратье приятеля, но драмы не последовало. Что горевать-то? И так недурно провела полтора года в компании завидного кавалера, здоровья не потратила, а в воспитании чувств поимела и приобретения. И дальше жила, радостно вписываясь в многокрасочье времени, поступила на курсы менеджмента (знакомым называла их Академией), улучшала свой английский, облагораживала собой компьютеры, принимала красивые позы в фитнесцентре, крутила там всяческие колеса, имела поклонников, конечно же, с иномарками, и вдруг – на тебе! Вновь зашла ей в голову блажь. Опять началось в ее мозгах брожение.

Был повсеместно обнародован чудесный случай обретения известным человеком взрослой дочери. Всех признанных им детей и жен, бывших и последующих, он помнил,

а тут к нему явилась двадцатилетняя красавица и заявила, что она его дочь. То есть не то, чтобы заявила, а как бы открылась ему, робея и тушуясь, что выявляло ее бескорыстие и добродетели. Названный папаша был циник и хват, теряться не умел, мог бы послать самозванку подальше, но что-то вынудило его поинтересоваться, а кто в таком случае мать. Имя его сначала удивило, но потом вызвало воспоминания. Смутные, правда. Да, было, было недолгое увлечение, мимолетное даже, но было. Иной мужик возмутился бы: «Ну и что? А где доказательства?» Наш же смекнул, что его имиджу и деньгам новая дочь-красавица не повредит. Напротив. Для тома в серии «Жизнь замечательных людей» – все в строку! Выходит новое издание биографических признаний, туда сейчас же можно будет вставить свежую взволнованную главу! Словом, дочь была признана, обласкана, представлена на ТВ, а со снимками на полосу – в газетах и модно-плейбоевых журналах и отправлена на учебу в Сорбонну. Конечно, кое-кто позубоскалил, но для доверяющей словам публики известным человеком была подтверждена его репутация художника и супермена с благородством порывов и широтой натуры.

А Елизавета завелась. Узнав об этой истории, она дважды пропустила сеансы в фитнес-центре. Калорий уже не считала. Лиза давно полагала, что она не урожденная Бушминова (фамилия-то какая безобразная!). Да хоть бы и урожденная! Отца следовало менять. Этого вытолкнутого из армии капитанишку, то и дело выдворяемого из дома за неблаговидность поступков в компанию мусорных бомжей. Он ей и не соответствовал. Он и не был на нее похож со своим маленьким личиком, своей невзрачностью и ужимками морильщика насекомых. Тут Соломатину разъяснилось ранее услышанное – «паспортный отец». А мать... Что мать? Во всяких средневековых или латиноамериканских историях матерями считались кормилицы, а потом обнаруживались вдруг какие-нибудь родинки под правой лопаткой или медальоны, оставленные младенцу, и... Нет, мать отмене не подлежала. Пусть она не норвежская королева, но Лиза чувствовала, что мать у нее подлинная. Да и исходя из здравого смысла, коли уж подыскивать себе подобающее происхождение, разумнее было подбирать отца, а не мать. Отрекаться от матери – грех. («Для самозванцев – не слишком большой, – отозвался кто-то в Соломатине. – Гришка Отрепьев отрекся от жившей в Галиче матери...»). Да и глупость несусветная – объявлять себя дочерью какой-либо женщины. Мужики и знать не знают, когда и кого они произвели. А женщины знают. О муках и радостях своих помнят. («Мария Нагая, – опять занудил кто-то в Соломатине, – знала. А надобность возникла, признала Отрепьева сыном, крест целовала...»). Дуреху, объявившую себя дочерью великой балерины, Елизавета понять не могла. Она достойна была лишь презрения. Или брезгливости. На что она рассчитывала? С какой целью ее подтолкнули к идиотской и проигрышной претензии? Стало быть, и не к проигрышной... Шум, скандал, известность пусть и мошенницы, да еще и показ на ТВ, тоже ведь позволяют накопить сена...

– Самозванцы и самозванки... – начал было Соломатин.

– Что? – не поняла Александра.

Соломатин собирался высказать банальность: самозванцы плохо кончают, их в Смуту было около сотни, и все плохо кончили. Или судьбы имеют трагические, всякие там княжны Таракановы и Анастасии, но почувствовал, что он сейчас – топленое масло к блинам, и лишь махнул рукой:

– Да нет, ничего, я так...

Идея определилась быстро. Отец, естественно, не опавший капитанишка. А человек со славой, суммой и влиянием. Чтобы мог в случае фавора приласкать, обеспечить и послать на учение в Штаты или туманный Альбион. Был бы толчок. А там Елизавета все бы устроила собственными усилиями, не став благородному отцу обузой.

– И кто же этот благородный папаша? – спросил Соломатин.

О-о-о! Папаши пока нет. Но есть уже кандидат в папаши! А его надо было вычислить, чтобы предприятие вышло верным и не превратилось в пустую авантюру с конфузами. Глаза Александры загорелись, можно было допустить, что и она с удовольствием помогала в расчетах. Наконец, один из кандидатов поддался вычислению. Имя его Александра не назовет, лишь намекнет о его личности. Это известный человек из шоу-бизнеса, попсовый композитор и продюсер, лет ему под пятьдесят, сам когда-то пел на стадионах с толпами, теперь не поет. Имеет репутацию шального добряка, купца елабужского, особенно если в подпитии или в кураже. (Соломатин насторожился, среди его знакомых были люди из породы упомянутой). Его уже держали в голове, и вдруг в семейном альбоме Бушминовых наткнулись на фотографию кандидата, молодого тогда. Да еще и с дарственной надписью! Это все и решило. На снимке вокруг певца были люди и среди них – мать Елизаветы. В студенческие годы она сама пробовала петь, во всяком случае, околачивалась вблизи модных групп. Дарственная надпись кумира была банально-необязательная, но теперь ее можно было толковать в определенных смыслах. Это был документ! Елизавета и прежде видела фотографию, но забыла о ней, сейчас же она сняла с обеих сторон карточки ксерокопии. Имелась и дата автографа, чрезвычайно подходящая для сроков утробного продвижения к выходу на свет Елизаветы. Лизанька принялась уверять себя в том, что снимок подарен не случайно. Смотрела в зеркало и соглашалась сама с собой: да, похожа, похожа, да что – похожа, вылитая!

– Самозванцы, – прошептал Соломатин, – это те же фальшивомонетчики...

Вовсе он не хотел высказывать свои соображения вслух, но так получилось. Соломатин даже испугался. Но чего?

А Александра будто бы и не услышала его слов. Шум, но явно не скандальный, в коридоре или в гостиной отвлек ее.

Но ненадолго. Она снова повернулась к Соломатину. Так вот, Лизанька вышла на кандидата в подлинные свои отцы. Не сразу, но вышла. Сначала открытки ему посылала с намеками, потом телефоном пробила. Причем не нагнала, а так, воздушно обволакивала любезного батюшку. Наконец, на какой-то доступной ей ночной тусовке подстерегла кумира и была допущена к личному общению. И тут не ошарашила резкой новостью кандидата, не испортила ему веселье, а лишь романтически намекнула о своем чудесном происхождении. Кумир был поддатый, но не до потери основ самосохранения. Тем не менее повертев фотографию, он охранников не подозвал и не распорядился гнать Лизаньку в шею. «Помню, помню... – пробормотал он. – Может быть, может быть...» Что-то в нем заурчало или зашевелилось. Во всяком случае Лизанька была посажена рядом с ним за стол. А тут еще какой-то бритоголовый бугай мимоходом поинтересовался: «Это что, дочка твоя, что ли? Похожа! Что ж ты ее прятал?» Лизанька сидела скромницей, тихой Золушкой, находящейся ой как вдалеке от тыквы, туфельки и мальчика с волшебной палочкой. И торопить явления их не следовало. Мать в свою затею Елизавета не посвящала. Но кое-какие подготовительные фиogli-мiglia производила, чтобы потом опасно не удивить родительницу. Сейчас она наверняка убежала на встречу с вынужденным привыкать к ней кандидатом.

Станный звук, словно клекот неистовый, возник в натуре Каморзиной Марии, и из рта ее вылетел рекордной длины пузырь, сантиметров в десять.

– Я сделала это! – вскричала Маша. – Я сделала это!

– Да, пузырь отменный, – выговорил Соломатин с намерением подавить рвотный спазм пищевода.

– Андрюшенька, почувствуйте опять, среди каких крезанутых чудовищ мне приходится проводить первую половину жизни! – возразилась Александра.

Шум снова возник в коридоре, тут же дверь открылась и в девичью вошла кузина Елизавета, урожденная Бушминова.

– Вот вы где! Дети подземелья Каморзиных! – весело сказала она.

– Андеграунды повсеместно отменены, – сказала Александра. – Андрей Антонович подтвердит. Кстати, познакомьтесь...

– Соломатин... Андрей... – привстал Соломатин.

– Лиза... – кивнула Елизавета.

Теперь Соломатин мог рассмотреть Елизавету со вниманием. В застолье она показалась ему капризной шалуньей, кокеткой, привыкшей к успехам в компаниях. Сейчас же перед ним стояла, по выражению приятеля Соломатина полковника Шлыкова, побывавшего в небесах Афгана и Чечни, – «отличница». Восторженному отроку могло бы прийти на ум и песенное – «зоренька ясная». Но нынче вряд ли бы где сыскались восторженные отроки. Сам Соломатин побыл некогда восторженным отроком, увы, побыл, а потому не должны были ему привидеться какие-либо зореньки. Тем не менее он был вынужден признать, что перед ним пребывала в воздухе тихая добродетель, не способная вызвать чьи-либо греховные помыслы. «Надо же, до каких слов-то наклюкался! – поморщился Соломатин. – До греховных помыслов! Что еще-то в башку втемяшится?» Из серых глаз, можно сказать, и очей Елизаветы исходило ровное свечение, и оно неким спиральным движением отправляло Соломатина в выси. «Все! – решил Соломатин. – Надо бежать отсюда!»

– Значит, вот вы какой, Соломатин, – улыбнулась Елизавета. – Очень рада, что мы с вами наконец-то познакомились.

«Наконец-то... – удивился Соломатин. С чего бы это „наконец-то“? И к чему?»

– И я рад... – пробормотал Соломатин.

– Александра, – сказала Елизавета деловито, – можно тебя на два слова? А Андрей Антонович нас извинит...

– Конечно, конечно, – сказала Александра.

И кухни закрыли за собой дверь.

Александра возвратилась в девичью минут через десять. Она была загадочная и будто чем-то ошастливленная или хотя бы обрадованная. Можно было предположить, что ее посвятили в тайны, какие нельзя было открыть неразумным сестрицам и уж тем более Соломатину, и это усадило ее на трон высокого знания. Вместе с тем она была явно растерянно-удивленная. А может и удрученная чем-то. Соломатин же посчитал, что при свидании Елизаветы с отобранным кандидатом произошло существенное событие. Но с чего бы Елизаветино «наконец-то»?

– Андрюша, – сказала Александра, – а вам не кажется, что мы совершенно не похожи на вашего напарника Павла Степановича Каморзина?

– Кто – мы?

– Мы. Три сестрицы. Мы и друг на друга мало похожи.

– Что есть, то есть, – согласился Соломатин. – Вы чрезвычайно разные.

– Ну и...

– Я не понял, – сказал Соломатин.

– Я к тому, – произнесла Александра с печалью, – что мы не обязательно дочери Павла Степановича Каморзина.

Мария и Полина молчали и, как показалось Соломатину, взглядывали на старшую сестру по крайней мере угрюмо.

«Вот значит как! – соображал Соломатин. – И для этой папаша лишь паспортный! И ей, цветущей под знаком Моники, подавай более достойное жизненное устройство. Самозванство, самозванство, столь блазнящее время от времени российское бытие! Но он-то, Андрей Антонович Соломатин, здесь причем? Какое-то нелепейшее несовпадение!..»

Происходило какое-то нелепейшее несовпадение его личности, его сути и его интересов со стихиями девичьей комнаты. С постаментом к бочке Есенина – случай ясный. А сюда в качестве кого его привлекли? Советчиком или опробователем идеи? Оценщиком замысла?

В советчики женщинам он не годился вовсе. И уж тем более не годился в советчики женщинам юным, девчонкам размечтавшимся! О том, что от него нынче хотели, он положил не думать. Вон отсюда и более о трех сестрицах не вспоминать. Они и их жизнь ему – чужие, и он им – чужой. Посидел однажды, сморенный блинами и белым напитком, поглядел на пузыри и ритмические движения Полины («Она меня утомила...») и баста. Нельзя пребывать в несовпадениях, нельзя.

– Вы знаете, юные леди, – встал Соломатин, – я, видимо, переусердствовал в застолье, извините, но мне надо на свежий воздух... Слабый я человек, не волевой... и беседу вашу могу испортить...

Он стал пошатываться даже, мол, вот-вот может рухнуть, словно бы потекли перед ним вниз и вверх губы Моники, ноги Курниковой, перевернутые формы мадам Брошкиной.

В коридоре его обхаживали хозяева и гости, уговаривали посидеть и оклематься, свежим воздухом подышать на балконе, а доктор наук Марат Ильич даже стягивал с руки магнитный браслет, обещал моментальную поправку, но Соломатин был тверд. Павел Степанович Каморзин шепотом у двери благодарил его за визит и понимание, советовал исследовать шкатулку и уж, конечно, зазывал на дачу, летом, понятно, когда он устроит постамент и водрузит на него реликвию. Соломатин чувствовал взгляды – Александры, похоже, обиженной, верхняя губа барышни, вечно приподнятая, прижалась к нижней, и Елизаветин взгляд, лучисто-озорной и будто бы Соломатина к чему-то подзадоривавший. Уже перед открытой дверью вынырнула шустрая Полина, заявила: «А не сбегаете ли вы, наш мачо, не сделав Дью!?» Но тут же она была отодвинута (и силой) средней сестрой. Глаза Марии не были уже сонными, они казались большими и в них угадывалось беспокойство.

– Надеюсь, Андрей Антонович, ко всему, что выказывали сегодня Александра и наша кузина, – произнесла Мария, – вы отнесетесь с осмыслением.

И липкий, выделанный пузырь не вылетел из ее рта.

11

Поутру в воскресенье Соломатина поздравил к себе телефон.

– Здравствуйте, – услышал Соломатин женщину. – Мне Соломатина Андрея Антоновича.

– Андрей Антонович Соломатин вас слушает.

– Ваш абонентский номер такой-то...

– Да...

– Я вас поздравляю! – телефонный голос сейчас же стал юным и праздничным, как пионерский горн. – Ваш номер выиграл приз!

То есть это был уже и не горн, объявление про приз вышло словно бы предоргазмным, эротическим всхлипом-восторгом, вполне равным по силе страсти прославлению чая «Липтон» с двумя нитками.

– Какой приз? – удивился Соломатин.

– Об этом позже. Скажите, пожалуйста, в вашей квартире, при вашем телефоне есть люди в возрасте до тридцати лет?

– От? – спросил Соломатин.

– От двадцати двух до тридцати.

Слова прозвучали уже деловито (страсть утомилась) и с паузами, звонившая заглядывала в необходимые бумаги. Голос ее показался Соломатину знакомым, опасность некая тотчас почувствовалась им, он пожелал наглубить даме, но не сделал этого.

– Я как раз от двадцати двух до тридцати, – сказал Соломатин, – Кстати, а почему – от двадцати двух?

– Не суть важно. – Произнесено опять же деловито и знакомо. Но сейчас же – взвейтесь кострами синие ночи: – Главное, что вы наш лауреат!

– С вручением нагрудного знака? – спросил Соломатин.

– Что? – взвизгнул горн.

– Нет, это я так... – сказал Соломатин. – Но, видимо, ваш звонок должен иметь какие-то последствия?

– Самые лучшие для вас. Мы приглашаем вас посетить завтра, в понедельник, в восемь вечера, банкетный зал нашего офиса. Запишите адрес, Столешников переулок, семь. Добраться к нам...

– Имею представление о Столешникове, – сказал Соломатин.

– Замечательно. Наша фирма имеет название «Аргентум хабар». Извините за обращение к низостям старых ценностей, но для оформления приза желательно иметь при себе документ удостоверяющий...

– И квитанции по оплате телефонных услуг... – предположил Соломатин.

– Квитанции не обязательны, но не мешают...

– Форма одежды?

– Желательны вечерние костюмы, но если вы человек свободной профессии, то вам самому и выбирать внешнее соответствие своей натуре.

Сейчас в утончившемся голосе собеседницы услышалось злокозненное ехидство, и он пожелал повесить трубку.

– Подождите, подождите, – услышал он, – Вот еще что. Деликатный вопрос. Не знаю, как и сказать... Просто должна посоветовать... Прием в честь лауреатов будет иметь импровизационный характер, не исключены самые неожиданные повороты действия с предложением выгодных дел, а потому... А потому я посоветовала бы вам иметь при себе средства, посильные, и не обязательно с видами города Ярославля... Вы меня поняли?

– Я вас понял, – сказал Соломатин. – Но в нашем разговоре есть некое неудобство, Вы знаете, кто я. Я же не имею возможности произнести, с приятностями, ваше имя.

– Милый Андрей Антонович, это все мелочи. Вот вы придете в понедельник в «Аргентум хабар», я сама отыщу вас и, может быть, не буду вам противна. Вы ведь придете?

– Куда же я денусь, – сказал Соломатин, – от приза и лауреатства?

«Да на хрена вы мне сдались со своим „Аргентум хабаром“!» – высказался Соломатин, уже прижав трубку к аппарату. Наслышан он был о внезапных поздравлениях, призах и выигрышах, сам однажды поучаствовал в бездарно выстроенной авантюре, принесшей ему, суетившемуся, два целковых навара.

Но что же он, знаток превратностей жизни, не бросил трубку и не нагрубил звонившей? Именно, именно потому, что в преобразованиях голоса собеседницы учуял будто бы знакомое озорство или коварство, а с ними и опасность, какую следовало распознать.

Не Елизавета ли, урожденная Бушминова, кузина сестриц Каморзиных, прикинулась сотрудницей «Аргентум хабар» и назначила ему свидание в Столешниковом переулке? Впрочем, ей и не обязательно было прикидываться. Она ведь где-то училась на курсах менеджеров и вполне могла практиковать в Столешниковом. Голос Лизаньки он, правда, запомнил не слишком хорошо, однако в интонациях посулившей приз было что-то от Елизаветы пока Бушминовой.

В Брюсовом переулке Павел Степанович не заводил с Соломатиним разговоров ни о семье, ни грядущем воздвижении бочки. Будто и не случалось блинного застолья. Не освежил он и пожелания исследовать шкатулку. А Соломатин в четверг пошарил в квартире в сомнительных местах и средне-кисловское приобретение не обнаружил.

Сестриц же Каморзиных и их кузину Соломатин приказал себе забыть. И все, что он у них слышал и видел, вопреки совету Машеньки-Пузыря, не подвергать осмыслению. Забыл и не подвергал. Забот хватало. И согласился с тем, что голос раздававшей призы хоть и был ему впрямь знаком, на голос Елизаветы все же не походил. О чем он теперь жалел.

Уже утром в понедельник Соломатин понял, что как бы он ни хорохорился, а вечером в Столешников переулок на сборище мошенников и простофиль он отправится. Но при этом проявит свое неуважение к сборищу в «Аргентум хабар» свитером и джинсами. «Кстати, слово-то „хабар“ было мне известно, но забыл... – сетовал Соломатин. – Надо заглянуть в Даля...»

Столешников переулок был, как всегда, мертвым. То есть, как всегда после закрытия Ямы и доступных московскому простонародью магазинов. Выяснилось, что «Аргентум хабар» процветает на задах дома с торговлей компьютерами. Соломатин предъявил паспорт, телефонную книжку, квитанции с печатями об оплате и был допущен к регистраторам.

Регистраторы сидели торжественно-важные, будто начинался Партийный Съезд. Правда, для Съезда их было мало, всего трое. Ведающий буквами «С-Я» паспорт Соломатину вернул сразу, а вот квитанции с цифирками оплат принялся рассматривать с лупой.

– Э-э, да вы пени платили! – с укоризной покачал он головой, – Что же вы живете так необязательно, молодой человек?

– Благодарствую за выговор, – сказал Соломатин. – Что же тем, у кого пени, приз не выдадут?

– Это решат в мандатной комиссии, – сказал «С-Я», он явно был недоволен легкомысленным отношением Соломатина к заботам городских телефонных нужд.

«Бюрократы! Чиновники! – возмутился Соломатин. – Да у меня денег не было оплатить во время! Сейчас устрою скандал! А приз выколочу!» И тут же удивился сам себе. Какой приз? Знал ведь, куда направился. И кем направился. Созерцателем. Созерцателем! Ради развлечения. А потому и регистраторов стоило причислить к развлечениям.

Естественно, Соломатин попытался углядеть в толчее знакомых. Ко всему прочему звонившая обещала отыскать Соломатина. То есть наживка плавала где-то над оголодавшим окунем. Нет, знакомых не было. Два смутно-виденных лица обнаружились. Но Соломатин не смог вспомнить, что это за особы. Вскоре же Соломатин заметил хлястик на белой спине. Ага. Стало быть, присутствовал здесь Агалаков Николай Софронович, смотритель московских жилищ миллионщика Квашнина, интересно – с какими целями и в каком свойстве?

Неожиданно в грудь Соломатину уперся палец губастого малого лет двадцати пяти, и малый заорал:

– Дью! А ты сделал Дью?

Малый походил на рекламного идиота, на груди и на спине его крепились картонки со словами «Слабо сделать Дью?», с ремня же свисала рыжая кошка. Чучело ли это было, выделанное таксидермистом, игрушка ли плюшевая, или живой рыжий зверь, Соломатин разглядеть не успел, губастый малый отскочил от него, резво обпрыгал четверых, прежде чем ухватил за хлястик Агалакова. Домоправитель (или кто он здесь?) повернулся, губастого выслушивал высокомерно, знакомо откинув голову и знакомо же сцепив на груди руки.

– Вам известен Агалаков? – спросил внезапно возникший вблизи Соломатина мужчина.

Соломатин не хотел вступать в беседу с незнакомцем, но проявил слабость и пробормотал:

– Отчасти...

– Ардальон, – протянул руку мужчина.

– Андрей... – вынужденно произнес Соломатин.

Ардальон был дылда, узкий в кости, с протяженным худым лицом, стриженный под «бритого неделю назад», на подбородке тоже имел щетину, черный шарф его спускался ниже колен. Иногда из-под него выглядывала красная бабочка. «Франт, – решил Соломатин. – Или понтярщик».

– Вы уже получили пропуск в Призовой зал? – весело спросил Ардальон.

Он будто бы был знаком с Соломатиным со школьной поры, вылакал с ним бочки рыбьего жира и не сомневался в том, что души у них родственные.

– А что – нужен и пропуск? – спросил Соломатин.

– Ну да, – сказал Ардальон. – Вон в том углу, мандатные... Подойдите к ним...

Соломатин чуть было не рассказал Ардальону об укоризнах регистратора «С-Я», но посчитал, что будет выглядеть простаком, к тому же было неизвестно, что связывает Ардальона с Агалаковым, тоже франтом. Или понтярщиком. Но на подходе к мандатным Соломатин ощутил неприятное: он разволновался. А вдруг случится конфуз, вдруг ему и впрямь припомнят пени. Неприятное было в том, что он будто бы всерьез втягивался в глупейшую игру.

Пропуск ему выдали, а вместе с ним и блок призовых купонов. Черный крылатый скакун на обложке блока неся куда-то в синем небе под словом «Суперприз». Соломатину вспомнился давний билет на елку в Колонный зал, от того пахло мандаринами и обязательностью подарка.

– А что поделявает здесь этот прохвост Агалаков? – поинтересовался Ардальон.

К Соломатину он вроде бы не обращался. Просто рассуждал вслух. Но выходило, будто Соломатин имеет представление о натуре Агалакова, схожее с представлением самого Ардальона, возможно, и более существенное, а потому Ардальону не помешало бы услышать версию Соломатина. Прохвост-то Агалаков прохвост, подумал Соломатин, но не исключено, что и сам так называемый Ардальон – прохвост и у них здесь с Агалаковым свои игры.

– Не знаю, – сказал на всякий случай Соломатин. – А вижу я его во второй раз.

Сказал резко и от Ардальона отошел без объяснений, словно бы увидел у стены знакомого. А смутный знакомый и впрямь образовался. Это был книжный челнок Фридрих Малоротов, он же Фридрих Средиземноморский, он же Фридрих Конфитюр, нос клювом какаду, жесткие волосы дыбом, с пятнистым журналом «Твоя крепость» в руке. Соломатин сталкивался с ним в какой-то компании, в какой – не помнил. Фридрих кивнул Соломатину, бросил:

– Если будут предлагать на западном берегу Корсики, не берите.

– Какой Корсики? – удивился Соломатин.

Но ответа не услышал. Фридрих прислонив к стене бумажку с меленькими цифрами, продолжил некие ответственные подсчеты.

Тем временем в толпе возникло брожение. Открылась дверь в Призовой зал. Пропуски и блоки призовых купонов обнаружились у всех, прибывших в Столешников. Но номера на купонах направляли приглашенных к столам разных значений. Соломатинский стол был второго значения. Его устали чашками с кофе. Стол напротив – через зал – кроме кофе облагодетельствовали и рюмками с коньяком. К столам по обе стороны двери подали: на один – стаканы с чаем, на другой – печеные яблоки. Рядом с Соломатиным к кофину потянулась рука Ардальона. Соломатин сначала увидел длинные тонкие пальцы, а уже подняв глаза, обнаружил возле себя Ардальона.

– Неважнецкая выходит нынче халява, – будто бы возликовал Ардальон. – Неумно ведут себя хозяева. Впрочем, откуда у них деньги?

– Однако купоны и прочие бумаги выглядят дорого, – сказал Соломатин. – Будто настоящие.

– А-А! – махнул рукой Ардальон, – позаимствовали у кого-нибудь. У какой-нибудь уже сгоревшей фирмы. А Агалакова-то нашего здесь нет. Даже и за коньячным столом. Это можно истолковать двояко. А? Как вы считаете?

– Я никак не считаю, – сказал Соломатин резко. – Не имею представления об Агалакове и тем более не имею интереса к нему.

– Не лукавьте, Андрей Антонович! – рассмеялся Ардальон. – Приходилось вам сталкиваться с Агалаковым, приходилось!

«Откуда ему известно мое отчество? – встревожился Соломатин, – Не проявит ли он сейчас умение читать чужие мысли, не заявит ли: а мне многое известно о вас, Андрей Антонович?».

Нет, не заявил.

Сейчас же объявились представители фирмы «Аргентум хабар» – прошли к столику с цветами и микрофоном. Было их двое – мужчина лет сорока и дама лет тридцати пяти. Мужчина имел одеяние производственно-деловое – костюм, в каком должны вызывать доверие клиентов и народа вообще важные персоны, начиная от министров и кончая приказными наблюдателями сумок в супермаркетах. И дама была строга. Предпочла костюм британской начальственной леди, украсив его лишь белой розой. Правда, колени ее явились открытыми и производили впечатление. От колен дамы взгляд Соломатина переехал отчего-то к ногам Ардальона, и тут Соломатин увидел впервые, что Ардальон прибыл в «Аргентум хабар» в валенках с галошами, и обувь эта, похоже, была исполнена художниками моды («Не ездил ли Ардальон на игры в Солт-Лейк-Сити?» – подумал Соломатин). Речь дамы, назвалась она Юноной Голубевой-Соколовой, ничем Соломатина не удивила. Поздравления, поздравления, поздравления, благодарность за то, что поверили в предприятие и оторвали себя от дел и развлечений. Да, это именно Голубева-Соколова звонила Соломатину, именно она пообещала отыскать его в толчее и не оказаться ему противной. «Не нуждаюсь я в ее отысканиях!» – разочарованно подумал Соломатин. Но отчего же голос звонившей показался ему знакомым? Или уже созданся некий всепроникающий телевизорно-рекламный голос, в него впрессованы голоса и матерей, и подруг, и следует подчиняться ему, и идти за ним?

И далее ничего удивительного для Соломатина не случилось. Голубева-Соколова объявила, что всем счастливицам необходимо терпение, замечательное их предприятие – многоступенчатое, и сегодня произойдет пропуск ко второму туру с призовым фондом в восемь миллионов рублей, а также автомобилями «Рено Меган», максимальная скорость 174 км/ч, «Шкода Фабиа», «Форд Фокус», и эти не менее резвые, блестящие и дорогие, всего 804 приза. Лишь один шаг отделяет счастливиц от выхода в финал и этот шаг – приобретение ценнейшего американско-мексиканского справочника для всей семьи «Поливание кактуса». Дальнейшее зависит от вас и только вас. Первый взнос за книгу составит 297 рублей, и вы сейчас же получите Личный номер участника Финала. Распорядитесь собственным благополучием!

Ну и прочее.

– Кончала Щукинское. Искусство представления, – определил Ардальон. – Кактусов как следует мы еще не поливали.

А Соломатин ощутил, что сейчас достанет из кармана триста рублей, купит справочник, а потом и заведет в квартире кактус.

– Я ожидал, что нечто подобное вы совершите! – рассмеялся Ардальон. – Хотя и полагал на вас рассчитывать.

Соломатину дать бы в рожу чтецу мыслей в валенках с галошами, самому бы бежать вон из Столешникова, но в рожу он не дал, а будто арканом притянутый оказался у расчетно-кассового стола, получил три рубля сдачи, вместо кактусового справочника – опять же талон на приобретение и типографским золотом звенящий Личный номер участника Финала.

– Вы все делаете верно, Андрей Антонович, вас еще ждут приятные утешения, – рука ясноглазой распорядительницы приема Голубевой-Соколовой возлегла на плечо Соломатина, а собирательный голос ее (матери, подруги, учительницы, опекуны) был ласков и кроток. Обещала сыскать, сыскала...

12

– Ну-ка, Андрюшенька, – рванул Соломатина за руку будто бы испуганный Ардальон, – пока нас не обволокли хабарными чарами, унесем-ка мы ноги из Столешникова... Хотя бы в Щель... Я-то крепок, а вы что-то разнюнились...

– В какую щель? – спросил Соломатин уже на подъеме к Дмитровке.

А ведь и сам соображал, что разнюнился и ослаб. Сохранил бы твердость натуры, иронически созерцал бы действо в «Аргентум хабар» и далее, урвал бы что-нибудь с фуршетной самобранки, отдалил бы от себя настырного егозу в валенках, а с деловой дамой Голубевой-Соколовой повел бы безопасную, а может, и выгодную для себя игру, глядишь, обнаружилась бы в недрах «Хабара» и кузина Лизанька... А его волокли в какую-то щель!..

– В какую еще щель? – переспросил Соломатин, теперь уже чуть ли не с угрозой.

– В Щель с большой буквы, – сказал Ардальон. – Здесь рядом, в Камергерском, закусовая, бывшая пельменная, разве вы ее не знаете? Там посидим, успокоимся, и я вам кое-что разъясню...

Соломатин удивлялся сам себе, с утра (да и накануне вечером) он был намерен возродиться, стать самовластным и единственным в мироздании, каким был до памятной мерзости. И вот он уже подчинялся бесстыжему прилипале, обезволенный и водимый, а перед тем выложил жуликам двести девяносто семь рублей.

– Со студенческой поры мне известна эта Щель, – не унимался Ардальон, – сбегали с занятий, особо после стипендий, и в нее – как в укрытие. Церберы из училища отлавливали нас, а мы – через кухню и во двор!..

«Зачем мне нынче укрытие?» – сердито думал Соломатин, однако следовал за Ардальоном.

Заведение, автором уже неоднократно упомянутое, а Соломатину – будто бы неизвестное, на этот раз показалось ему именно щелью. Окно закусовой от «Оранжевого галстука», гремевшего Агузаровой, до пиццерии, сменившей своими обедами сыров и ветчин магазин штанов, было шириной метра в три, и приглашала в нее комнатная дверца. Истинно щель. О впечатлении этом Соломатину позже приходилось вспоминать неоднократно.

«Щель-то – ладно, – соображал Соломатин. – Но во дворе, за кухней...» Впрочем, думать об этом «во дворе, за кухней» не хотелось.

– Вот мы и дома! – радостно объявил Ардальон в закусовой. И обратился к кассирше: – Людочка, ты все, как рододендрон альпийский, цветешь и благоухаешь!

– Ну, ты скажешь! – обрадовалась кассирша. Но было видно, что выделить личность вновь прибывшего из прочих посетителей она в затруднении. Впрочем, что-то она и вспоминала: – Давно я тебя не видела.

– В другую смену заходил, – быстро сказал Ардальон. – В другую смену.

– Ой, ой! Альберт, ты все такой же красавец!

– Ну, не совсем Альберт, – скромно сказал Ардальон.

– Ну да, – согласилась кассирша. – Я помню. Не Альберт. А Альберт. Ты ведь с Машковым учился и с Женей Мироновым.

Угощение от Ардальона Соломатин принять все же отказался, купил себе напиток и жаркое в горшочке. За столиком у стены чокнулись, выпили, Ардальон сейчас же перешел на «ты», а говорить принялся отчего-то шепотом:

– Я тут свой... Свой... Но за кого только меня здесь не принимают... Альберт – это еще куда ни шло... А я – Ардальон! Блажь моего родителя! Бегал в молодости по гаревой дорожке. Кумиром у него был Ардальон Игнатьев, якобы учитель из чувашской деревни. Тогда всем нашим звездам полагалось иметь трудовые профессии. Кто электрик, кто токарь,

кто учитель. Ардальон Игнатъев, чуваш, в Хельсинки на первых наших Олимпийских играх стал чемпионом. И не в какой-нибудь гимнастике, а в беге на четыреста метров. Да и с феноменальным результатом – сорок шесть секунд. Ни один негр не мог тогда так пробежать. И через годы папаша мой не успокоился, первенца своего обозвал Ардальоном. Ну хоть был бы я Игнатьевым, а то ведь мы Полосухины! Ардальон Полосухин! Каково! Сразу же – в фельетон! Или хуже того – в памфлет! И где нынче олимпийский чемпион? Никто не помнит и не знает. Спился, небось. И сгинул. А ты волочи его имя. И был бы в нем высокий или поэтический смысл, предназначение мое возносящий. Так нет. Из толкователя имен следует, что Ардальон – хлопотун, суетливый человек. Опять же – каково! Но привык...

Жидкости в сосудах Ардальона иссякли, и он отправился к стойке за пивом, нынче оно значилось очаковским сортом «Норд-Вест». Пока Даша наливала кружку и отстаивала пену, Ардальон обошел столики, шумно и с распахнутыми руками, всем он был, похоже, мил и дорог, его обнимали, уговаривали присесть, правда, называли при этом не только Ардальоном и Альбертом, но еще и Арнольдом, Альфонсом и даже Георгием. У всех Ардальон интересовался состоянием драгоценного здоровья и радовался процветанию каждого. Среди приветствовавших Ардальона, впрочем, сдержанно, Соломатин, в углу у окна, углядел некоего своего знакомого, встреча с кем ему сейчас, пожалуй, не доставила бы радости. Это был я.

– Половина неизвестна мне, – сказал Ардальон. – Половине неизвестен я. Но тут как бы улица в деревне. Или в некогда процветавшем Тифлисе. Для кого я здесь модельер. Для кого народный художник Армении. Для кого – кидала. Но все равно приятно. И комфортно. Жаль, что это заведение скоро закроют. Впрочем, что жалеть-то. Сказано: слить из бачка!

И в шуме застолья ясновидческие слова эти были услышаны кассиршей.

– Альберт, что ты говоришь! – воскликнула она. – Креста на тебе нет! С чего ты взял, что нас скоро закроют?

– Ну что вы, Людочка, солнышко мое, – как бы испугался Ардальон. – Разве мог я такое произнести? Разве мог я высказать такое направление мыслей? Вас и вашу закусочную ангелы будут хранить вечно. Под присмотром серафимов...

– Альберт, ты что-то знаешь? – все еще не могла успокоиться кассирша.

– Я ничего не знаю! – заверил Ардальон. – Я вообще ничего не знаю!

– Ой, ой! – всплеснула руками кассирша. – Как же ты ничего не знаешь! Вон на тебе валенки с галошами. А обещают тотальное потепление.

– Я знаю, – поведал Ардальон Соломатину снова шепотом. – Я все знаю. Их закроют. История! История требует. Центр первопрестольной не для бедных. Не для нищих. Для имущих! Для их проказ! А не для всех этих порофессоришек, писателишек, актеришек, мучителей струн и клавиш, офицеришек чести. И прочих, наказавших себя фрондерством, якобы независимостью и презрением к деньгам. Пусть живут здесь, пусть, но пусть и жрут, и срут по своим коммунальным возможностям. Прежде всего центр лишили общественных туалетов. И по справедливости. Коли ты гордый и самостоятельный, носи отправления организма в себе, терпи. Опять же зачем торговать на Тверской хлебом, когда следует предлагать здесь людям, для коих не хлеб насущное, хорасанские ковры, рулетку и игровые автоматы. И эту, что ли, Щель для нищих студентов держать? Высоцкий помер, пять рублей тут задолжав, а Машков с Мироновым Е. в других условных интересах. А шваль, хоть и интеллектуальная, пусть ищет себе вымирающую забегаловку где-нибудь в Аминьеве или привокзальный буфет в городе Чехове. В буфеты Ивантеевки всю эту шваль! Хотя бы и потому, что наши герои, в шестидесятые годы швалью себя не считавшие, в конце концов, произвели сами себя в быдло и породили нынешних хозяев жизни, то же семейство Крапивенских, у кого в кармане эта закусочная. Сам Крапивенский, будто бы по народному проклятью, отдал концы в офисе над бывшей Ямой. Наследнички же его намерены продать и нашу Щель подороже,

потому как место в Камергерском – золотоценное. А тем, кто способен купить ее, история и судьба Щели и вовсе не интересны...

– А не нарушат ли они равновесие ценностей, – спросил Соломатин, – и не получают ли они в оплату – судьбу вашего знакомого Крапивенского?

Ардальон Полосухин задумался, мысль о повороте связанных с общественным питанием в Камергерском судеб, видимо, не приходила ему в голову, он оживился и заявил:

– Конечно! Конечно! Ты прав, Андрей Антонович! Будет и оплата! И им, и тем, кто повысит здесь цены на водку и запретит бочковое пиво, и им воздастся! И им воскурится черным дымом!

Введя в голову соображение о грядущем запрещении бочкового пива, Ардальон сейчас же поднес к губам кружку, а потом обратился к кассирше:

– Людочка, а как разворачивается ход следствия? Небось уже выяснили, кто убил в вашем дворе Олёну?

– А разве не вы, Альберт Иванович, и убили? – спросила буфетчица Даша. – Все уверены, что вы и убили. Зарезали и пристрелили.

– Ой, ой, ой! – взволновалась кассирша. – Какие ужасы ты высказываешь!

– Даша! Дашутка! Проказница ты моя! – обрадовался Ардальон. – Всегда любил твое чувство юмора. Ты ведь с ридных мест Николая Васильевича Гоголя. Цвети! Одарка! Потерпи еще годок...

– А что через годок? – спросила Даша.

– А через годок я заверну тебя в персидские ковры и умыкну, унесу тебя на буланом аргмаке!

– И куда же донесете?

– Да хоть бы в Объединенные Эмираты!

– Вы лучше мне теперь подарите персидские ковры.

– Теперь у меня их нет...

– Вы, небось, и Олёне обещали ковры и эмираты, а потом взяли и порешили.

– Дашенька, чаровница моя, да разве я похож на татя или на Солоника? Да я в трамвайной давке не способен вытащить у кого-либо две копейки из кармана.

Потом Ардальон сказал серьезно:

– Это другие нечто обещали Олёне... Но раз вам неизвестно, кто убил, то милиции тем более неизвестно...

Пожилый крепыш за столиком у двери, прежде дремавший, вскинул голову и заорал:

– Была бы баба ранена! Была бы баба... Но шел мужик с бараниной!..

– Коля, заткнулся бы ты совсем! – грозно посоветовала кассирша.

– Все, Людочка, все... Тихо, тихо. Но сама посуди, если бы не мужик с бараниной, который шел вдоль путей...

И башка крепыша уткнулась в пластик стола.

– А ты, Андрюша, – снова шепотом спросил Ардальон, – Олёну, наверняка, знал? Или слышал о ней?

– Не знал! – резко, чуть ли не с вызовом заявил Соломатин. – Ни о каких здешних Олёнах не слыхал!

И сразу сообразил: Ардальон понял, что он врет.

– Слышал, конечно, что кого-то в этих местах убили... – пробормотал Соломатин.

– Как же, как же, – сказал Ардальон. – Девушка была приметная. Но сама влезла в глупую историю... А убийцы ее, вполне возможно, и сейчас здесь сидят... Личности сюда заходят самые разнообразные... Иные умельцы и удалцы... Вон, скажем, тот, простенький на вид, числится краснодеревщиком, мебель чинит, но известно, что он тайники особенные способен создавать. А кому нынче нужны тайники с секретами, сам понимаешь...

Соломатин кивнул на всякий случай. Простенького на вид краснодеревщика он видел в компании со своим коммунальным напарником Каморзиным. О чем-то они секретно разговаривали. Не о бочке ли Сергея Александровича Есенина? Помнится, была названа фамилия «Прокопьев»... И надо полагать, Полосухин Ардальон был знаком с Олёной Павлыш. Станным образом дороги их прежде не пересекались...

– Или вон тот, у окна, – сказал Ардальон, – седой, коротко стриженный, пожилой, некоторым отчего-то кажется похожим на Габена, он...

– Этого я знаю, – сказал Соломатин.

– Коротко знаешь? – удивился Ардальон, и интерес несомненный к этому знакомству проявился в его глазах.

– Нет, – быстро сказал Соломатин. – Видел по телевизору...

– А-а-а... – разочарованно протянул Ардальон. – Или вон тот, за столиком рядом с нашим краснодеревщиком... У него уши с острыми завершениями, как у зверя тропического, забыл какого... Или у кого-то с Собора Парижского богоматери... Этот плут, но мелкий... Четыре года носит подмышкой папку, в ней как будто бы проект коттеджа, который вот-вот построит телеведущий Малахов. Под этот проект берет в долг. И дают... В папке же в лучшем случае – лоскут туалетной бумаги. Или носки с дырками...

– Действительно, странные уши, – Соломатин был удивлен. – Их остриями можно резать бумагу.

– И еще он рассказывает, что в армии своим натуральным предметом размешивал в котлах пшеничную кашу.

– Гадость какая! – поморщился Соломатин.

– Гадость! Гадость! – согласился Ардальон. – А моя фамилия Полосухин – не гадость! Полосухин! Вот этот сотворитель тайников с пружинами печалится от того, что в его фамилии подменена буква и он не Прокофьев. А я – Полосухин! Папаша успокаивал сына и утверждал, что в пору физкультурных парадов гремел некий Полосухин, мировой рекордсмен, он то ли летал в стратосферу, то ли стрелял, то ли метал гранату, то ли прыгал с парашютом. Мол, напрягайся, сынок, Ардальону Полосухину суждено резко бегать или убегать, стрелять, а может – отстреливаться, и прыгать из-под небес с парашютом, в надежде на то, что он раскроется... Впрочем, и у тебя, Андрюша, фамилия не лучше. Помоечная какая-то фамилия. Соломатин! Саламата – жидкий киселек, и то по-татарски... Был еще Соломаткин, пропойца вблизи передвижников. Однажды его осенило. Писал, писал карликов-алкоголиков, в мороз ли, в жару ли ожидавших открытия трактира, и вдруг над толкотней их рыл, в изумрудной фантазии жизни вознес лазоревую канатоходку. Видение ему в утеху нам было дадено. И ведь даже не Соломатин, а Соломаткин...

– Какая связь? – пробормотал Соломатин.

– Никакой, никакой! – заспешил Ардальон. – И Олёну ты не убивал.

– Уволь меня от своих фантазий! – сердито сказал Соломатин, Ардальон ему надоел, сейчас же следовало найти предлог, чтобы прервать общение с ним, а брошенную в пропасть господином Крапивенским закусочную – покинуть.

13

– И я не убивал! – воскликнул Полосухин. – Ни я, ни ты не можем добыть быстрых денег, а хотелось бы. И пробовали. Но не можем. Не дано. Тебя привело к краху. Ты до сих пор от этого не отошел. Я знаю, я знаю... Не дуйся и не уходи... И я обжигался. Но ведь можно делать и неспешные деньги. Можно! И не такие гроши, как этот... с острыми ушами... Кривомахов... Вовсе не такие!

Сразу же к ним подошел человек с острыми ушами. «На них можно накалывать шляпки грибов, – подумал Соломатин. – И сушить».

– Здравствуйте, – сказал он. – Да, я – Кривомахов. Здесь в папке проект загородной резиденции кумира первого канала Малахова, Который без очков и стирает. Аванс я роздал на две паперти Большого и Малого Вознесения... Окончательный расчет жду со дня на день.

Кривомахов замолк со значением. Но Соломатин с Ардальоном не одарили его словами понимания. Кривомахов запустил руку в карман штанин и вытащил мятую брошюру.

– Это первая книжка Андрюши Вознесенского. «Парабола». Мы с ним учились в архитектурном институте. Посвящение в ней зачитывать не буду, дабы не польстить себе комплиментом гения.

– И что? – спросил Ардальон.

– Я полагал, – гордо сказал Кривомахов, – что натуры у вас тонкие.

– Тонкость своей натуры, – сказал Соломатин, – я оцениваю в десять рублей. Десять рублей вам хватит?

– На полкружки пива... – пробормотал Кривомахов. – А на днях состоится окончательный расчет...

– Ба! Кривомахов! Уши – пики батыевых всадников! – обрадовался новый для Соломатина человек, явившийся, видимо, из кухни, а может и со двора, коренастый мужичок вида домашнего, в невытой майке, шароварах и тапочках на босу ногу. – Опять людей дуришь! Гони должок!

– Васек, не порть людям отдых, – сконфуженно произнес Кривомахов.

– Люди! Господа! Сэры с ледями! Гуманоиды! Этот друг Вознесенского проиграл мне пари. К воскресенью он взялся заделать дыры в швейцарском сыре. В килограмме. Где этот сыр? И где эти заделанные дыры? Пошли в магазин!

– У меня всего десятка... – промычал Кривомахов.

– Там мозги людям задуришь на общую сумму! – заверил его Васек и тут же обернулся к Ардальону и Соломатину: – А я тебя видел с шарфом этим у Олёны, соседки моей... Да, да. И тебя тоже.

– Вы ошибаетесь! – нервно произнес Соломатин.

Ардальон же слов никаких не сыскал.

– Мы, касимовские, никогда не ошибаемся, – строго, чуть ли не с обидой заявил Васек. – Я бы и сам наладил лыжню к Олёне, но у меня полковник, стерва, а у нее гуманоиды.

В облегчение Соломатину заговорила кассирша:

– Васек! Прохвост ты первейший! Где твой-то должок за отмену денег?

– Людмила Васильевна, а я разве не отдал? Ну если не отдал, то сегодня вечером... Мы, касимовские... А теперь я спешу. Раз уж этот архитектор не заделал к сроку дырки в сыре, надо ковать железо. А то улетит.

– Ой! Ой! Он что, гуманоид, что ли? Из твоих?

– Какой он гуманоид! – поморщился Васек. – У гуманоидов ушей не бывает. Зачем им? Особенно такие, с острыми.

И Васек решительно поволок однокашника Вознесенского к выходу. А было понятно, что он уносит ноги от кассирши Людмилы Васильевны. Однако в нескольких метрах от двери он все же нашел в себе силы остановиться, поприветствовал сначала краснодеревщика Прокопьева, а потом и знакомого Соломатина, признанного здесь похожим на Габена, каждого попросил не отчаиваться, а ждать. По трехлитровой банке касимовской воды он вот-вот привезет.

– Вот ведь наглый! Вот ведь отчаянный! – Людмила Васильевна то ли пожурела Васю, то ли порадовалась за него. – И этот, с ушами, тоже хорош. Вчера всучил советнику из Думы штопаные носки. Будто когда-то в бане Гагарин снял ему с себя, и этот архитектор с той поры их носил, спал в них, но теперь обнищал и вынужден продать реликвию. И ведь советник-то из ушлых, пусть и поддатый...

– За сколько? – спросил Ардальон.

– За сотню.

– Продешевил! – рассмеялся Ардальон.

– Ну, все вы мелкие грешники, – устало произнесла Людмила Васильевна.

– Кто все?

– Да все. Кто ходит к нам в закусочную. Кто раньше ходил в Яму. Грешники, но мелкие...

В закусочной стало тихо. Лишь почитатель мужика с бараниной, спасшего бабу, похрапывал. Остальные же посетители, похоже, посчитали высказывание кассирши не мимолетной болтовней ради общего благоприличия, а утверждением, вызванным годами пребывания в местах людских общений. И было в ее словах нечто материнское, из высоких сфер, было сострадание и была печаль.

– А почему мелкие? – спросил Ардальон. – Грешники – это понятно. Но почему – мелкие?

– Не мелкие... малые... – поспешила поправиться Людмила Васильевна, она будто желала Ардальону угодить.

– Мелкие. Малые! Какая разница! – раздраженно махнул рукой Ардальон. – Отчего же не великие?

Соломатин почувствовал: слова кассирши возбудили в Ардальоне бунтовщика, тот, казалось, готов был самым нелепым способом выразить сейчас же свое несогласие или даже возмущение. Следовало осадить Ардальона, но не потребовалось.

– А оттого, что не великие, – тихо сказала Людмила Васильевна, и это снова было произнесено не кассиршей, а некоей повелительницей снов, ведающей обо всем. – Возможно, вы и хотели стать великими грешниками, но не стали ими. Великие грешники к нам не ходят.

Вновь прибывшие молодые люди, юноша и две девицы, с торбами на спинах, иностранные студенты, судя по пухлостям бырышень, своими заказами вернули буфетчицу и кассиршу в повседневную жизнь, философическое состояние в закусочной было нарушено, а шум возобновился.

– Мелкие... мелкие... – все еще бормотал Ардальон. – А желали стать великими...

– Каковы наглецы! – Соломатин попытался погасить смятение чувств Ардальона и направить его мысли к другим предметам. – И Васек Касимовский. И архитектор остроухий. Позавидуешь!

– Какой он архитектор! – поморщился Ардальон. – Насчет носков Гагарина – точно. Десятки их он сбыв... А раньше продавал портянки Анки-пулеметчицы...

– Я и говорю – наглецы! – восхитился Соломатин. – Только с такой наглостью и можно теперь жить.

Он помолчал и добавил серьезно:

– Я про тебя, Ардальон, сегодня подумал: вот ведь наглец! Наглец ко времени! Позавидовал. А потом расстроился. Наглым ты смог проявить себя лишь по отношению ко мне.

– И ты хорош! – взъерепенился Ардальон. – От бабы в «Аргентум хабар» раскис. Хорошо хоть взял сдачи три рубля. Но и тут прохиндею с носками и портянками отвалил десятку. Стыдно!

– Ты же просто сбежал из «Хабара».

– Сбежал. Сдрейфил. Испытал наваждение, какое следовало развеять, но не развеял. Однако тебя изъял из наваждения и увел в Щель. Если ты созрел для новой попытки совершить нечто, то тебе нужен таран для пролома.

– Надо взять еще водки, – мрачно сказал Соломатин.

– Возьми, – кивнул Ардальон. – И пива.

После сердитых молчаний Ардальон сказал:

– Знаешь, какая у меня мечта? Поезд. Литерный. И чтобы всюду меня принимали по расписанию, какое установлю я. Хотя бы и на Северном полюсе. Хотя бы и в Антарктиде.

– Там нет рельсов.

– Уложат. И через Берингов пролив уложат. И чтобы все остальные расписания изменялись и подчинялись моему расписанию.

– Понятно. И чтоб электрички садоводов опаздывали на три часа.

– Это к чему?

– Северо-корейский вариант. Уже было.

– Пусть было. Но – была одна страна. В моем случае должна быть вся планета. Или галактика. Я не сладострастен. Мне не нужен алмаз Шаха. Мне не нужен трон. Мне нужен бронированный состав с моим расписанием.

– Я уже в Столешниковом понял, – сказал Соломатин, – что от тебя следует держаться подальше.

– Не надо понимать мои слова буквально! – вскричал Ардальон. – Надо лишь приложить голову к рельсам. И услышать. Услышать Подземный гул. Вселенский гул. Это совершаю движение я.

«А он ведь и опасен», – подумал Соломатин.

– Теперь мне понятно, – сказал он, – отчего ни одно твоё предприятие не имело успеха.

– Ты все упрощаешь! – не мог унять Ардальон. – О моих предприятиях ты ничего не знаешь. А теперь давай затеем общее! Только не будем добывать быстрые деньги!

«Э, нет, – решил Соломатин, – Надо от него отвязаться. Надо его напоить. Да так, чтобы он уснул и остался здесь, в Камергерском».

Соломатин подошел к буфетчице и заказал два стакана водки и два пива. Застольным бойцом, как сообщалось, он не был и сам себе удивился. «В него волюю, – решил он, – а себя как-нибудь обнесу чашей...»

Пока Даша выполняла заказ Соломатина, к ней подошел пышноусый коротыш с манерами ясновельможного гусара.

– Милая Дашенька, что-то давно не видно вашего негра.

– Мой негр пока загорает, – сказала Даша. – А в Москву ни разу не приезжал.

– Ну простите, Дашенька, не хотел обидеть, – смутился пышноусый. – Я имею в виду того плечистого негра, который вот на этом месте обещал выкупить закусочную.

– Тот негр более сюда не заходил, – сказала Даша.

– Ой, ой! Обнадежил сукин сын, – подтвердила кассирша, – и более не заходил.

– Жаль. А то ведь и вправду останется нам одна Щель, – покачал головой пышноусый, из гусар летучих. – Если что, не обижайтесь...

– Да кто же на тебя, Сенечка, обидится! – сказала кассирша.

– Линикк, Гном Центрального Телеграфа, – с поклоном представился пышноусый Соломатину.

– Очень приятно, – заспешил Соломатин. – Как же, слышали, слышали.

И быстро направился с подносом к Ардальону, не хватало еще негров и гномов. Ардальон сидел тихий, мечтательный и расположенный к восприятию напитков. Бронированный литерный по расписанию пребывал где-то в спокойствии. Впрочем, нуждался ли он в расписании? В расписаниях, коли на то пошло, рассудил Соломатин, должны были нуждаться другие механизмы и твари.

Сам же Соломатин опозорился, но это выяснилось двадцатью часами позже. Его убежденность в том, что удастся обнести себя чашей, было опровергнуто практикой. Соломатин надрался. Назавтра кое-что помнил, но возможно, что и не самое существенное. Ардальон Полосухин уговорил его участвовать в устройстве нового предприятия. «Давай! Давай! Давай будем шить наволочки!» – отчего-то предложил Соломатин. «Нет, ничего мы не будем ни шить, ни строгать, ни выстрагивать!» – охладил его Ардальон. В шитье и в выстрагивании все давно схвачено, а если и будет что перелицовываться, то с высмаркиванием мелких соплей. Нет, пока еще можно ввязаться в защиту или поддержку чего-то. То есть раскатать какой-нибудь фонд. С лицензиями и всякими бумажными необходимостями он, Ардальон, справится. Друг Андрюша, друг Соломатин нужен ему во вспомогатели. Ради идей и текстов. «А то! А то! – воскликнул Соломатин. – Идеи и тексты это – восемь раз плюнуть!» «Я знаю, – согласился Ардальон. – Поэтому я тебя и отыскал. Ты созрел и я созрел». Потом за их столиком возник виденный сегодня в Столешниковом, в «Аргентум хабар», человек, нос клювом какаду, жесткие волосы дыбом, книжный челнок Фридрих Малоротов, он же Фридрих Средниземноморский, советовавший не брать участки на западном берегу Корсики. Фридрих в возбуждении рот кривил, изумлялся: «Что же вы ушли? И вы бы призы получили! А мне вон что выдали! Будто знали, кто я!» И Соломатину с Ардальоном был предъявлен глобус размером с плод авокадо. Но с четырьмя углами. «Не удивлюсь, если вам всучили глобус Украины, – предположил Ардальон. – С Киевом на Северном полюсе, с Дрогобычем – на Южном!» «Нет! – обиделся Фридрих. – Они с пониманием. На Украине участков нет. А здесь – сплошные побережья!» Фридрих и удалился от них обиженный, благо были рядом и другие столики, где можно было угостить глобусом... Потом Соломатин пил за хлястики и пропел хлястикам эпиграмму. А может, эпитафию. А может, эпиграмму. Или пусть будет – панегирик. И еще – по его же, Соломатина, предложению – пили за какие-то вытачки. Последнее, что помнил Соломатин: Ардальон, положив ему руку на плечо, повторял, иногда умиляясь: «Ну ты понял, какая у нас здесь будет Щель...»

14

Меня, несомненно, задели слова «мелкие грешники» и «Щель». Мягко сказать, задели.

Акустика в закускойной в Камергерском, уже отмечалось, была отменная. Была... Какие гости, нередко и с гитарами, здесь только ни пели или напевали – и из Большого, и из Оперетты, и из Музыкального Станиславского, и из «Метро» с «Нотр Дам де Пари» вместе, и молодняк из Консерватории. Пели осторожно, если в меру трезвые, вблизи соседней двери не могли не видеть уважительную доску «Здесь жил и работал Л.В. Собинов», а уж про доску напротив, занимавшую мысли краснодеревщика Прокопьева, я и повторять не стану. Хотя находились и нигилисты, заявлявшие: «Подумаешь С.С. Прокофьев, подумаешь „Огненный ангел“, а над ним жил САМ Никита Богословский, и гремел, и стучал по клавишам, отчего и нам не шуметь?» По легенде и Высоцкий тут не только остался должен пять рублей, но и впервые нащептал «Страшно аж жуть». И любой шепчущий, выходило, здесь словно бы у рта держал микрофон.

А потому я вчера не мог не услышать «мелкие грешники» и «Щель».

Про «Щель» еще требовались умственные изыскания с вариантами, а по поводу «мелких грешников» сразу же возникли сострадания к собственной натуре и судьбе. Можно было, конечно, посчитать, что кассиршей Людой определяющие величины, как многие ее словечки, сопутствующие естественному ходу поения и кормления человек, были названы случайно и без всяких значений. Но я-то знал интонации, паузы, ойканья и вздохи Людмилы Васильевны и ощутил, что высказала она, неизвестно ей зачем, надбудничное. Определяющее нам места в миропонимании и нечто пророчащее.

Обидеть она нас не желала, тем более – напоминанием очевидного, а просто вывела слова для себя и для находящегося выше ее и нас. Каждый из нас порой отключается от того, что вокруг, и в забытьи о житейско-рутинном выталкивает слова (мысли) в воздухе, всетерпеливо-безгласные. Зачем? Надо ли кому? Надо ли было напоминать нам о том, что мы мелкие грешники? Надо ли было желеобразной тщеславной графоманке Гертруде Стайн объявлять острых, азартных, бурно живущих молодых людей, каких, а уж свежесть их талантов и подавно, она не понимала, «потерянным поколением», а глупость ее стараниями критиков и социологов перетекла и на поколения иные? Чушь какая! Скачки дикие в моих ощущениях! При чем здесь Гертруда Стайн? Кассирша Людмила Васильевна вовсе не богатая эстетка с претензией на осмысление жизни, ее слова выдохнулись лишь частным определением свойств обслуживаемых ею людей, и именно жалостью к себе и к этим людям. Малые грешники, стало быть, у них и денег мало на грехи. Или наоборот: способны лишь на малые грехи, а потому и средств добывают исключительно на заказы в дешевой закускойной. Средние грешники убажуют капризы своих натур в ресторане «Ваниль». А про великих грешников и говорить нечего. Они поднебесны. Есть еще и сливки общества. Сэр Элтон Джон, отчасти похожий на клоуна Олега Попова, пожелал в стране Прокофьева и Стравинского иметь концертным помещением – тронный зал Екатерины Великой, а зрителями – сливки общества. И все устроилось. И табуретка сэра разместились в Екатерининском дворце, и сливки общества перед табуреткой не опозорились. Были они в смокингах и при бабочках и обеспечили сэру при привозном рояле деньги на прожитие. «Хороший вкус проявил наш высший свет», – отметил для ТВ один из сливок, экс-губернатор, известный своим уважительным отношением к карточным состязаниям. По поводу сливок и отечественного бомонда мы и вовсе не должны судить, великие они грешники или малые, грешники ли они вообще, наше дело ради процветания общества – любоваться ими. Издалека. Они в нашу закускую не зайдут.

Эти мои соображения, и в самом деле очевидно скачущие, с изгибами логики, были вызваны не только вчерашними досадами, но и утренней давящей серостью неба, хоть включай электричество. Но почему мне явились на ум «потерянное поколение» и Гертруда Стайн? Тут впрочем, объяснение простейшее. Днями раньше я читал очерки П. Кrespеля об истории Монмартра и Монпарнаса. В хаосе той, легендарной уже жизни, в сплетениях судеб, натур людей, сгинувших в бездоньи Леты, или же ставших знаменитыми, а потому известных нам в подробностях, существенными были очаги общения, они же и места убаживания утроб, чаще всего голодных (Шагалу для ночных сеансов требовались селедка и черный хлеб, Пикассо – каталонский сыр). Закусочная в Камергерском была, несомненно, родственницей «Проворного кролика» на Монмартре или «Селекта» в Монпарнасе. Для меня во всяком случае. И никаких преувеличений или комплиментов не по заслугам здесь нет. Это одно. Другое. Среди прочих примечательных персонажей книжек Кrespеля оказалась и Гертруда Стайн. Литератору-французу она была чрезвычайно несимпатична. Денежная американка, приплывшая с братом к парижанам, вроде бы стала благодетельницей нищих чудаков или нахалов – Пикассо, таможенника Руссо, Вламинка, Дерена. Объявились к тому времени и иные благодетели непризнанных – русские мануфактурщики Сергей Щукин и Иван Морозов. Эти были пощеднее Стайнов и подальновиднее (оттого и собрали лучшие коллекции парижан той поры). Но и поскромнее, поделikatнее, что ли, открытия талантов не ставили себе в заслуги. По мнению Кrespеля, из Стайнов вкусом обладал брат, и когда он вернулся в Америку, тонким наблюдателям это стало очевидно. Однако барышня с претензиями поставила себя так, что долгие годы считалась в Париже – законодательницей художнических мод. Ко всему прочему она была убеждена, что из всех сочинявших на английском языке она безусловна первая. А тут – всякие резвящиеся в кабаре, кабаках, на ипподромах, в обществе веселых девиц Хемингуэи, Миллеры, Джойсы, Фолкнеры, Дос Пассосы с их глупостями, козерогами, сомнительными опытами. Потерянное поколение. При этом влиятельная дама словечки не изобрела, а лишь дала им ход, позаимствовав их у автомеханика. Тот выразил неудовольствие навыками или усердием своего помощника, побывавшего во фронтовых окопах: «А-а! Потерянное поколение...» Факт хорошо известный, но отчего-то вдруг оживший в моем сознании. И ведь Стайн искажила суть вздохов автомеханика. И возникло как бы всеобъемлющее социальное клеймо. Механик-то печалился о профессиональном несовершенстве помощника. Укорять молодых творцов Парижа, да и не одного Парижа, естественно, в профессиональных слабостях было делом, мягко сказать, наивным. Однако выражение Стайн оказалось липучим, съедобным и чрезвычайно выгодным в употреблении для множества господ и товарищей, знающих, как следует жить и куда надобно вести слои населения. Бог мой, сколько же на моей памяти уполномоченными истин с состраданием (и обличениями тоже) высвечивалось потерянных поколений. А с ними и «лишних людей». В меня же со школьных лет и «лишние люди», и «потерянное поколение» втемяшились с аксиомной данностью вместе с рекой, впадающей в Каспийское море, и Америкой, открытой Колумбом. С открытием Америки и заблуждениями Христофора, то бишь несущего Христа, я позже с удовольствием разобрался. А вот потребности переаттестации выражений «потерянное поколение» и «лишние люди» в моей натуре не возникало. Просто во мне жило соображение, что нет никаких потерянных поколений и никаких лишних людей. Однако словечки эти в последнее время снова стали ударяться в меня. Студенты, ходившие в школу в девяностые годы, накануне зачета оправдываясь передо мной по поводу скверно выполненных заданий, принялись сетовать: мы, мол, из потерянного поколения. И жалость к себе звучала в их словах и умиление собой же. Не хватало еще причислить себя к лику «лишних людей». Зачеты я им все же, раздобившись, поставил... Впрочем, и моих сверстников, кое-что делавших в семидесятые годы, они приписывали к «потерянным поколениям», а уж шестидесятников – тем более.

И вот теперь при застылости в небе сизых облаков я от мелких грешников добрел до потерянных поколений и лишних людей. Не напрасно ли я ворчал на студентов, призывая не возмущаться размещением их судьбой в будто бы малоудачных или даже гнусных земных обстоятельствах, иных обстоятельств дадено не будет? Уж какие вы есть, такие и останетесь...

Но что нынешним-то утром я опечалился? Не выталкивают ли меня превратности времени (эко красиво!) в компанию именно лишних людей, коим предстоит быть втиснутыми в Щель? Кто я таков, не по сути своей и не по особенностям или заслугам дел и натуры, а по важнейшей нынче примете – достатку? В ходовых газетах, умеющих считать, определялась ценность граждан и степень их принадлежности к среднему классу. Увы, увы. Мимо меня. Предельно допустимых денег я не добывал и относился к низшему сорту. В Щель, милостивый государь, в Щель. И сейчас же! Стоило бы, конечно, двинуть в почетнейшую гильдию охранников, каких развелось в Москве не менее, чем решеток на окнах, но меня туда не возьмут. Нет, в Щель! И именно сейчас же!

Но сейчас же я отправился к холодильнику и наполнил кружку холодным пивом. И будто бы облака посветлели. Так. А почему бы мне не устроиться если не в охранники либо в смотрители притротоуарных стоянок, то хотя бы в ночные сторожа, тоже средний класс? Кто-то посчитал, что я похож на Габена, вот и ладно, рожа нехорошая, знакомо-свирепая, враги не обрадуются, протекцию раздобуду, посадят меня на ночь в сених конторы, без обид и претензий, стану я совмещать бдения с дневными делами. И не надо бежать в Щель. Тем более Щели пока нет. Закусочную еще не закрыли. (Да, ее, прежде пельменную, было известно, кто-то из мхатовских стариков именовал «Щелью», но при этом наверняка бралась в расчет суженность пространства, то есть свойства геометрические, а не вздорность метафизики. Хотя как знать. Как знать. Старики мхатовские могли забредать и в метафизическую Щель с присутствием в ней Теней, даже сгустков их. Они-то помнили о многих, чьи звуки жили в камнях Камергерского. Я не знаю об особенностях походов Антона Павловича, Алексея Максимовича, слава Богу не объявившим себя Кислым, или Центральным, или Парковым, а ведь мог, Михаила Афанасьевича... Слышали они, возможно, рояль создателя «Трех апельсинов», серебряный голос Лознгрина-Собинова, скрип сапогов двух приятелей – Сталина и Бухарина, пешком поспешавших из Кремля на «Турбиных». Впрочем, сапоги Иосифа Виссарионовича, по истории, не скрипели, вовсе не звучали...) Растекся я словами по дереву! Забыл еще вспомнить о мальчике Володе Одоевском, «юном Фаусте», позже «русском Гофмане», прозванном так с упрощениями, а некогда по утрам шагавшего из дома двоюродного деда, князя Петра Ивановича, вместо здания того – нынче именно бывший Общедоступный, через Тверскую в университетский Благородный пансион, Телеграф стоит на его камнях. И тени Одоевского, раз уж он растормошен и околдован энергией Гофмана, потребно и не скучно было бы возвращаться в Камергерский.

Все. Хватит! Взгляни в зеркало. Это я себе. Взглянул. Не Габен. В сторожа не возьмут. Оно и к лучшему. Щели нет. Меня в нее еще не затолкали. Людмила Васильевна нажимает на кнопки аппарата, на стенке которого укреплена табличка со словами: «Касса работает в настоящем режиме цен». Закусочную не закрыли. (Закроют! Закроют! И говорить нечего – закроют!) Но ведь не завтра. Может, через месяц. Может, и через два. А потом, глядишь, в казне российской, в бухгалтериях, кого-то совесть ущекочит, зазвонит серебро, прольется монетный дождь, омочит растрескавшиеся, как в солончаках, платежные ведомости, и тебя удостоят размещением в среднем классе. Со средним достатком и правом на общение при кружке жидкого хлеба.

А то ведь разнюнился, профессор! Потерянное поколение! Лишние люди! Женя Онегин, Гриша Печорин, слюнтяи и захребетники. И ты туда же. Нет на тебя Добролюбовых и Писаревых!

Но вот Соломатин.

Андрюша Соломатин, естественно, видел меня. Впрочем, оставим Андрюшу. Андрей Соломатин. Андрей Антонович, кажется. Не подошел. И понимал, что я к нему не подойду. Постарел? Скорее заматерел. Лицо обветренное, грубое. Залысины. Но может, просто короткая стрижка. Мужик. А было время, брал уроки у тенора Марченко, вдохновленный или возбужденный нежностью и ласковогласием Лемешева. Теперь не тенор, баритональный бас. Игорь в плену. Сальери, жалеющий Моцарта. Говорили, ездил воевать на Балканы. Пробирался в Карабах. Но может, не ездил и не пробирался. Не знаю. Слышал о его здешнем, московском крахе. Слышал, что сник. Дал обеты, будто бы и обет молчания. Но вчера он вроде был оживленный. Временами. Минутами. Рядом с ним сидел плут. Валял дурака. Прикидывался пьяным. Андрюша-то... фу ты, Андрей Антонович у нас непьющий, но его развезло... Плут, вместе с тем и франт с вывертом, а стало быть, человек показушный, по судьбе – с реквизитом и декорациями, но франт стильный, денди с Тверской, от Соломатина чего-то хотел. Соломатин же говорил, руками размахивал, увлекался (созрел до нового увлечения?), чертил что-то, слышалось: «хлястики... вытачки!», а плут в валенках с галошами и шарфом художника кивал, радовался и срочно записывал. Или Соломатина раззадорили слова о мелких грешниках? Вряд ли ему были приятны эти слова... Болезненное чувство возникло тогда во мне. Я захотел, чтобы Соломатин, уходя, подошел ко мне. Пусть бы и надерзил. Но и опасался этого. Однако вышли в Камергерский Соломатин с плутом, пошатываясь, ни на кого не глядя, как два моряка-забуддыги из таверны в Кейптаунском порту. Или два кореша из ростовской пивной. Только что песню не орали...

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?

А ведь обладатель черного шарфа приводил Соломатина – в Щель (услышал, акустика). Но в Щели задерживаться обоим им не было нужды.

15

В тот майский день с Сергеем Максимовичем Прокопьевым случились два происшествия. Можно сказать, и не происшествия. А так, два разговора. Оба они были связаны с тайниками.

Поутру Прокопьеву позвонил маэстро Мельников. Срочный заказ, заявил, срочный. Не извинялся, не ссылаясь на неразумность собаки, не впустившей Прокопьева в дом, не юлил, не вспоминал об ущербных креслах и диване. Сразу заявил: «Срочный заказ». Срочный и секретный. Словно выстрелил спиннингом взблеснувшую наживку.

– Часов в пять в Камергерском сможете быть? – спросил Мельников.

– Постараюсь, – выговорил Прокопьев. Намерения его с пожеланием Мельникова не совпадали, но желудочный сок сейчас же напомнил ему о необходимости принять солянку. Обедом в сретенских мастерских ему выходили домашние бутерброды, а один из них оказался сегодня с подтухшим беконом. Годами раньше Прокопьев принялся бы считать, а доступна ли ему солянка. Но теперь деньги в его карманах водились.

В Камергерском, к удивлению Прокопьева, маэстро Мельников его ждал. И был он тих, скромненький, а с людьми, просившими у него автографы, деликатен. Деликатен был и актер Симбирцев, ножом деливший бутерброд с икрой, красной, на три вмятых ломтика. На днях Прокопьев видел Симбирцева в телевизоре. Там Симбирцев сериально изображал благородного олигарха, выигравшего на бильярде с сукном омской мануфактуры сироту (ее роль исполняла Рената Литвинова), с которой ночью в номере люкс, им снятом, он романтически отказал себе в физических удовольствиях. Впрочем, общение олигарха с сиротой в номере-люкс, та и бретельки спустила с плеч, было разорвано рекламой таблеток, усаживающих диарею, что, возможно, и облагородило действия олигарха.

– С диваном и креслами я потерплю, – все же не смог сдержать себя Мельников.

– М-м-м... – Прокопьев попытался проглотить кусочки сосисок с маслиной.

– Да вы ешьте, ешьте, извините, – поспешил Мельников.

– Конечно, – сказал Симбирцев, – кушайте внимательнее, иначе подавитесь. Маэстро вас не переживет. А вы ему нужны по гроб.

– Николай, прекрати паясничать, – поморщился Мельников.

– Я? Паясничая? – изумился Симбирцев.

– Мне нужно убежище, – таинственным шёпотом произнес Мельников. – Или хранилище...

– Убежище? Для вас?

– Не для меня, – уж совсем тихо прошептал Мельников, оглянувшись при этом. – Для документа... Для узаконивающей грамоты...

– Но без печатей, – сказал Симбирцев.

– Каких печатей?

– Которые бы узаконили твою грамоту.

– Ты юридически беспомощный балбес, Николай!

– Какой грамоты? – теперь уже поинтересовался Прокопьев.

– Видите ли... – протянул Симбирцев. – Сергей Максимович, да? Видите ли, Сергей Максимович, мы с вами, кажется, относимся к разным чинов людям. Играл в историческом сериале, времена Алексея Михайловича, видел чертежник, на нем надпись: «Дворы разных чинов людей». Так вот мы с вами разночинцы. А Александр Михайлович из чинов светлейших. Он из Рюриковичей, а Рюрик, как известно, имел в предках императора Октавиана Августа. Что и подтверждается родовым древом Мельниковых. Да что Рюриковичи! Месяц назад в государстве Чад обнаружили черепушку то ли мужика, то ли бабы, живших до появ-

ления обезьян, и тем самым посрамили прагматика Дарвина. А на той черепушке разглядели микрозапись по латыни «Мельников»... Вот для своего родового Древа наш Александр Михайлович и желает иметь хранилище. Можно сказать, и тайник, но произнесем – хранилище...

– Коленька шутит, – Мельников не злился, во всяком случае не выказывал себя оскорбленным. – Я не поклонник Дарвина, и Рюриковичи не имели родственников в государстве Чад. Роль посредника ты, Коленька, берешь напрасно, но информация выдана тобой разумная. Передо мной нет сейчас оригинала архивного документа. Размеры его метр на три с половиной метра...

– Я видел, – сказал Прокопьев. – Вы стали разворачивать рулон здесь, но что-то вам помешало.

– Следователи, – сказал Мельников, – По поводу убийства во дворе... Копия документа с украшениями Шемякина висит у меня дома под стеклом, уменьшенная правда, а сам документ...

– Не документ! – рассмеялся Симбирцев. – А – рулон! Ты же слышал – рулон!

– Рулон я употребил в смысле формы, – принялся оправдываться Прокопьев. – Для рулона нужен тубус. Ну, из тех, что у архитекторов, у чертежников...

– Он может быть и металлическим?

– Да хоть и платиновым.

– Важно, чтобы документ не мог сгореть, размокнуть, быть съеден жучком, и чтоб его ни в коем случае не похитили.

– Да кто его похитит? – удивился Симбирцев.

– Враги, – мрачно сказал Мельников, – Враги и завистники. Режиссеры из провинции. Из Авиньона... Хранилище должно быть загадочно-секретным.

– А с чего вдруг с разговором о хранилище вы обратились ко мне? – спросил Прокопьев.

– Ну... – замялся Мельников. – Я полагал...

– Молва, – сказал Симбирцев. – Народная молва. И касса с буфетом это подтвердят. Народ убежден, что вы не только краснодеревщик, но и...

– Но и чернокнижник, – вступил Мельников.

– Мало ли что несут! – рассмеялся Симбирцев. – Но все же говорят, что вы, Сергей Максимович, умелец не в одних лишь пружинных делах...

– Я имею слабость ко всяким хитроумным устройствам, однако...

– Ну вот! – обрадовался Мельников. – Мы и поладим! А я не пожалею...

– Пожалее! – сказал Симбирцев.

– Надо посмотреть, какие у вас стены, – задумался Прокопьев. – И прочее. Вы где предполагаете устроить... хранилище? В Москве или загородом, в вашем...

– Замке! – хохотнул Симбирцев. – В родовом замке со скелетами и рыцарскими доспехами. С привидениями!

– Это надо обсудить особо, – прошептал Мельников. – И не здесь...

– Хорошо, – кивнул Прокопьев. – Мне надо подумать. Согласия я не дал.

– Сергей Максимович, – сказал Симбирцев. – И не давайте согласия. Не проявляйте легкомыслия. О душе своей подумайте и о теле. О животе подумайте, то бишь не об утробе, солянки пожирающей, а о жизни в вечном понимании... Неужели вы не помните о судьбах умельцев, сотворивших красоту, секретные хранилища и подземные ходы? Соборы, наконец, и кремли? Возьмем хотя бы либерала и просвещенного князя Юрия Звенигородского...

– По легенде! – возмутился Мельников. – По лживой и неподтвержденной легенде!

– Однако Тарковский в «Рублеве»...

– А что Тарковский? – вскричал Мельников. – Для тебя Тарковский авторитет, а для меня он ученик!

– В какие такие свои годы ты мог быть учителем Тарковского?

– А что годы? Леонардо и в пять лет мог стать учителем Вероккио. Я говорил, Андрюшенька, окстись, зачем ты бросаешь тень на милейшего князя Юрия! Не послушал... Потом, уже в Швеции каялся, чуть ли не плакал, говорил: «Ты был прав! Все это ради красивого кадра...» Я тогда платок достал, протянул ему... Вот этот...

– Хватит! Хватит! Теперь тебя не остановишь! – испугался Симбирцев. – Не лезь в карман за платком, я тебе верю, верю. Но я-то имею в виду тебя. А ты вовсе не милейший. Сергей Максимович, учтите, как только вы ему соорудите тайничок, он вас тут же и ухлопает. Или киллера вызовет из Тамбова. Или сам взорвет.

– Есть же предел твоим пошлостям! – вскочил Мельников. – Все, Сергей Максимович, мы договорились.

– Я обещал подумать, – сказал Прокопьев.

16

Покидать Камергерский сразу же после ухода Мельникова с Симбирцевым у Прокопьева желания не было. Он решил купить газеты в киосках у «Марочных вин» за памятником Антону Павловичу, а потом почитать о совершенствовании жизни граждан вблизи кассового аппарата Людмилы Васильевны. Сентиментальную натуру Прокопьева на углу Тверской и Камергерского каждый раз догоняли впечатления детской поры. У здешних витрин грустно-одиноким Плятт в кинофильме «Подкидыш» печалился о заблудившейся девочке, а Раневская повторяла: «Муля, не нервируй меня!» Приобретя газеты, Прокопьев вспомнил о вчерашнем своем намерении. Впрочем, намерение это было многолетнее, но вчера оно ожило.

Прокопьев мастерил вечером некую забавную вещь с сюрпризами (понадобятся ли сюрпризы Мельникову?), в увлечении стал насвистывать, но, посчитав, что вызовет раздражение домашних, замолк и опустил на диск проигрывателя недавнюю покупку – пластинку с музыкой Прокофьева к «Ивану Грозному», стараниями дирижера Стасевича сведенную в ораторию. Музыка была замечательная, сильнейшее впечатление на Прокопьева снова, как и в фильме, произвела пляска опричников, ковыряние в вещичке с сюрпризами пришлось отложить. А шкатулка, пусть и бессмысленная, могла и впрямь получиться забавной. В Дрезден снова надо съездить к секретам мастеров Зеленой Кладовой, решил Прокопьев. Но тут же и осозналось; «Надо! Надо!» сто раз приходило ему в голову в связи с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Солянка солянкой, а напротив солянки – музей-квартира однофамильца. Почти однофамильца. Завтра же, завтра ее следует посетить. Впрочем, который год – завтра...

И теперь с газетами, в их числе – «Мир Новостей» с рожей олигарха на обложке и «Советский спорт», Прокопьев шагал Камергерским. Под музеем МХАТа шляпой собирали подаяние голосистые хлопцы с гитарой и бубном, обеспечивавшие удачу картоном со словами: «Родина Маккартни – Кременчуг и Вапнярка», всюду при выносах столиков на брусчатку переулочка пили кофе и пиво. Дверь в музей-квартиру находилась теперь между уличными местами Дзен-кофейни и пивного ресторана «Яранга» (возможно, в подвале «Яранги» гурманов угощали моржовыми хрящами и хренами, а посуду поставляли косторезы от Берингова пролива, но пиво в кружки заливали из бутылок, купленных за 15 р. в «Красных дверях», в «Яранге» же оно превращалось в напиток двадцатирублевой ценности, то же происходило и в «Оранжевом галстуке» сбоку от закусочной. Это, естественно, было неприятно для Прокопьева. Прокопьев нажал на кнопку над дверью музея-квартиры Сергея Сергеевича. Еще нажал, еще. Надеялся, вот-вот услышит за дверью шаги, скорее всего деликатные, женские. То есть не то, чтобы скорее всего, а убежден был, что хранительницей квартиры служит женщина, в прошлом пианистка, играла на конкурсах «Мимолетности» гения. А может, дальняя его родственница, с худым лицом и в очках. Не раздалось деликатных шагов, значительно-хмурый охранник от соседней двери («Поднебесная недвижность») взглядом пристрелил Прокопьева как не прошедшего регистрацию. Никаких правил посещений музея-квартиры вывешено не было. «Ба! Да ведь уже седьмой час! – сообразил Прокопьев. – А к ним небось записываться надо заранее, может, за неделю...»

Ну и ладно, решил Прокопьев. Ему будто полегчало. А был он в напряжении. И прежде создавал, что оттягивает приход к человеку, заслуженно имеющему в фамилии знак «Ф» (Фортуна! Но может – и Фатум. Впрочем, гению и предопределено соединение Фортуны с Фатумом). Это в Третьяковку зайти легко. Ходи себе и ходи. И никто не поинтересуется, знаток ты или профан, тетеха щербинковская, слышал ты что-либо о Дионисии или Лентулове и вообще зачем ты сюда притащился. А заходить в музей-квартиру все равно что заходить в гости. Наверное, сюда пускают экскурсантов, а так-то в дверь звонят два-

три посетителя, и хранительница, эта самая родственница и пианистка, в очечках, хотя бы из вежливости должна интересоваться, а что вас, дорогие гости, сюда привело, в чем суть вашего прихода и что вы намерены узнать о Сергее Сергеевиче? Он, Прокопьев, конечно, стал бы мямлить. А хранительница спросила бы и о том, какие сочинения особенно дороги ему. Что бы назвал Прокопьев? Первым делом, естественно, «Петя и волк», сам побывал некогда пионером Петей, ну потом «Золушку» и веронский балет, ну фильмы бы вспомнил, ну «Классическую симфонию», «Мимолетности». То есть Прокопьев о своем однофамильце имел представление, музыку его любил, но уж точно, кроме бормотания о Пете с волком и партии гобоя хранительница от него ничего бы не услышала, приняла бы его за посетителя ресторана «Древний Китай» и расстроилась бы за бывшего хозяина квартиры.

«Оно и к лучшему, оно и к лучшему, – повторял про себя Прокопьев. – Еще послушаю Прокофьева, почитаю о нем побольше, тогда и зайду...»

Приняв из рук буфетчицы Даши кружку пива, Прокопьев приглядел пустой столик. Мысли его вступили в праздное и странное колыхание. «Ниже по Дмитровке, прямо за домом Прокофьева, – Георгиевский монастырь, остатки его, нынче „Новый манеж“ с золочеными прапорцами, а прежде гараж силовых людей, а еще прежде – именно женский монастырь. В двадцатые годы ломали и вскрыли захоронение Марфы, Царской невесты, она была как живая, яды Бомелия убили и сохранили ее. В опере Римского-Корсакова ее любил опричник Грязной. Но причем тут Прокофьев? Римский-Корсаков был его учителем. Опричные люди оцепили здешние места в марте пятьдесят третьего, направляя народ в Колонный зал к утихшему Сталину, а в оцеплении лежал упокоившийся Прокофьев...»

Прокопьева и самого ввел в раздражение совершенно необязательный ход его мыслей. А главное, он никак не мог им управлять. Бог знает что, красавица Марфа, опричник Грязной, это все легенды, да и об обстоятельствах кончины композитора он знал понаслышке. Все это тени Камергерского...

– Уважаемый, – услышал Прокопьев, – не поможете ли вы в решении умственной задачи?

Оказывается, за столик к нему подсел неизвестный Прокопьеву человек. Перед ним лежала газета с умственными задачами. Человек сидел спиной к окну, к солнцу, и поначалу показался Прокопьеву черным. Или чернявым. По пригляде выяснилось, что он скорее темнорусый, а волосом пышен, локоны его спадали к плечам. Имел сосед эспаньолку и тонкие усы, им он уделял внимания, подумал Прокопьев, видимо, не меньше, нежели сериальный сыщик второго канала Эркюль Пуаро.

– Первая башня Кремля, – сказал сосед. – Девять букв. А?

– Что? Какая башня? – удивился Прокопьев.

Следовало бы сообщить соседу, что он теперь не склонен к разговору. Но вдруг умственная задача истребит в нем бессвязие мыслей? Откуда возник сосед? И когда? Рядом с газетой стоял бокал коньяка, а Прокопьев не слышал обращения соседа к буфетчице.

– Первая башня Кремля, – повторил человек с льющимися локонами и эспаньолкой. – Первая по времени создания, от нее пошли стены. Четвертая буква от конца «ц».

– Боровицкая! – обрадованно поспешил Прокопьев.

– Боровицкая... – протянул сосед, ручка его опустилась к газете. – Нет. Увы, увy! Лишняя буква в этой башне. А в нашей с вами башне тайник с колодцем...

– Тайницкая... – выдохнул Прокопьев.

– Верно. Верно! Тайницкая! – теперь уже обрадовался сосед. – Надо же. Кремль начался с тайника! С тайника. И до сих пор стоит.

Прокопьеву захотелось отсесть к кому-нибудь из знакомых. Или вообще уйти из закуской. Но знакомцев в присутственном месте отчего-то не было.

– Да, ведь до сих пор стоит, – продолжил сосед, заполнив девять клеточек. – Горел, а стоит. Знать, замечательные были у нас тайничких дел мастера! Теперь такие перевелись.

Прокопьев не пожелал нужным что-либо высказать.

– Или не перевелись? – резко спросил сосед. Почти вскрикнул. Или выпалил.

Он и глазами будто выпалил в Прокопьева. И будто левый глаз его сощурился и стал зеленым. «Да нет, мерещится, – успокоил себя Прокопьев. – Глаза у него одинаковые, карие, и злокозненный прищур не возникал. Этак мне еще и тень царской невесты привидится...»

– Слышал, что не перевелись. И вроде бы даже заходят в эту закусную.

– К чему об этом вы говорите мне? – спросил Прокопьев.

– Ни к чему! Ни к чему! – словно бы смутился сосед. – Просто так, явились какие-то соображения. В связи с башней. Кстати, зовут меня Николай Софронович... А вас?

– Сергей Максимович, – мрачно сказал Прокопьев.

Минут пять живописный господин Николай Софронович («Лет тридцать пять ему, – решил Прокопьев, – ну, под сорок») провел в кроссвордных усердиях и лобызаниях коньячного бокала. Жидкость, впрочем, не убывала. На пальцах его Прокопьев рассмотрел два перстня, один был с черным камнем, возможно, с гагатом, другой с печаткой.

– А я не сомневаюсь, – заговорил Николай Софронович, на Прокопьева не глядя и словно бы обращаясь к элементарному существу типа амёбы, расположенному на дне сосуда, – умельцы на Руси не перевелись. Это я к тому, что если какой-либо богатый, но и капризный в эстетическом понимании человек да и с заковыринками задумает завести тайник, но тайник особенный, с затеями и с игрой, он такого умельца отыщет? Вы как считаете?

Прокопьев промолчал.

– И при этом тайник обязан быть надежным, не вскрыть, не взорвать, и чтобы ни в каком кашеевом яйце его погибель не сыскалась. Ну так как, Сергей Максимович?

– Что как? – спросил Прокопьев. – Я-то здесь причем?

– Я в том смысле, – сказал Николай Софронович, – как вы наш сюжет рассудили бы.

– Я так рассужу, – сказал Прокопьев, раздражаясь, – что вам и вашему очень богатому знакомцу следует обратиться к японцам или американцам. Они для любых ценностей изготовят самые надежные тайники. От бусинок с клопа ростом и до бункеров с подземными ходами.

– Э-э-э, нашему-то соотечественнику американцы и японцы скучны, были когда-то кудесники в Германии времен создателя Щелкунчика и в Англии были, но и там теперь пекут не игрушки, а автоматы в соответствии с модами. Нам же нужна штука диковинная, странная и единственная в своем роде. То есть и не в своем роде, а вообще единственная. И, стало быть, неповторимая.

В последних словах собеседника Прокопьев ощутил угрозу. И произнесены-то они были как бы доверительно, негромко, но будто гул некий с металлическим лязгом услышал в них Прокопьев.

– А не вы ли и есть, – сказал Прокопьев, – тот самый очень богатый с заковыками и капризами отечественного эстета?

– Ну что вы! Что вы! – чуть ли не возмутился Николай Софронович. – Это ведь мои пустые предположения. Или фантазии... Вот и отгадывай кроссворды!

– И какой же в ваших фантазиях может оказаться судьба изобретателя диковины? – волнуясь, спросил Прокопьев.

– Вот это вопрос по делу! – оживился Николай Софронович. – Стало быть, вас задели мои... вольные построения... Отвечу. Судьба изготовителя диковины сложится удачливой. Вознаграждение он получит отменное.

– Диковина должна быть единственная и неповторимая, – сказал Прокопьев, он чуть ли не заикаться стал. – Логично предположить, что хозяин тайника, особенно если он с капри-

зами и ... вывертами... пожелает изготовителя истребить. Взорвать или замуровать. Что уж тут говорить об удачливой судьбе...

– Любезный Сергей Максимович, – рассмеялся Николай Софронович, – вы о каких-то варварских обычаях вспоминаете!

– А сейчас какие обычаи? – спросил Прокопьев.

– Что вы так разволновались? У вас пальцы дрожат. Будто вас касается этот сюжет. Или и впрямь касается? Мы ведь кое о чем наслышаны...

Прокопьев был намерен наглубить наглецу. Однако, что-то и сдерживало его. Неужели страх? Вот ведь как на него наехали с тайниками! Но если разговор с Мельниковым был забавен и даже приятен, то сейчас Прокопьев ощущал свирепую опасность. И хуже того – его знобили искушением. Его вовлекали в затею, к какой он был предрасположен, но эта затея поволокла бы его в пропасть.

– Ну так как, Сергей Максимович, – учтиво, но и с твердостью уверенного в своей миссии порученца было произнесено собеседником, – или следует искать иных Кулибиных и Нартовых? На вас ведь могут и обидеться... А обидевшись, и заставить.

– Сергей Максимович, я вам не помешаю?

– Нет, конечно! – обрадовался Прокопьев.

– Вижу, место у вас свободное, – Арсений Линикк поставил на столик полстакана водки, пиво и бутерброды. – Прошу извинения. Я пока любезничал у буфета с Дашенькой, слышал ваши разговоры о тайниках. И вот что я вам скажу...

Николай Софронович поморщился. Впрочем, свежему собеседнику кивнул из вежливости. Хотя отчасти и надменно. Линикк был нынче в свитере грубой вязки и напоминал не только собутыльника пана Володыевского, но одного из северных разбойников, ходивших волоками и Днепром в греки. Николай же Софронович с льющимися локонами и выпестованной бородкой отсылал мысли к толедским идалго или на худой конец к амстердамским мыслителям времен Вильгельма Оранского, плоеное, в три яруса жабо ему бы сейчас не повредило. Явление Линикка, порой вызывавшего у Прокопьева недоумение или даже тревогу, теперь его успокоило и взбодрило.

– Так вот что я вам скажу, – повторил Линикк. – У нас на Телеграфе сейфов видимо-невидимо... Сами понимаете... Я с Телеграфа. С Центрального... Арсений Линикк (это – господину с локонами)...

Инженер по технике безопасности и надсмотрщик над кабельным хозяйством. Сергей Максимович, у нас же – что? У нас же не богатый хрен с капризами, у нас же государство... Было, конечно... Теперь аптека «36,6» с презервативами, а был операционный зал. У нас имелись подвалы Главлита, требовалось знать, о чем граждане пишут, телеграфируют и трепятся по проводам. Только там одних сейфов стояло и стоит... И на всех этажах. Дело государственное. Но во всех государственных делах решающим всегда оказывается человеческий фьюк. Или хрюк... То есть не всегда, часто и Гномы, но неважно... Значит, человеческий фьюк. Или фактор. Кто-то с перепоя поутру забыл код, а по кремлевской надобности требуется открыть, кто-то оставил секретнейшие ключи у любовницы, кто-то объелся кислых щей, у кого-то пропал интерес к жизни, мало ли что. Не помогут и взрывные работы. Конфуз, паника, самоубийства из-за кодекса чести... Но есть же дядя Кеша, слесарь-ремонтник по штатному расписанию, двадцать три года провел за забором из-за болезненного интереса к бурым медведям. Он мизинчиком поведет или углом рта устроит дуновение, и нате вам – откроется любой «сим-сим». Он и теперь у нас на контракте... Сергей Максимович, могу познакомить с ним. Все. Договорились... Долгие мои слова к тому, что никакие тайники никакого капризного заказчика таинственными остаться шанса не имеют...

– Не знаю, о чем вы, – высокомерно сказал Николай Софронович. – Но в наш разговор вы вступили некстати, не расслышав сути дела.

– Кстати или некстати, – сказал Линикк и крутанул правый ус, – но я понял, что вы заманиваете Сергея Максимовича в пустую затею и притом запугиваете его.

– Так что, Сергей Максимович? – спросил Николай Софронович. – Или как?

– Мне придется обдумать услышанное здесь, – сказал Прокопьев, – Впрочем, и обдумывать нечего. Сведения привели вас сюда ложные. Посчитаем, что я ничего не понял из ваших фантазий и сразу же забыл о них.

Руки Николая Софроновича взлетели над столом, перстни взблеснули, но ожидаемый порыв красноречия его был отменен явлением нового посетителя закуской. По свойствам обуви и штанов вошедшего, его следовало отнести к бомжам, но лакированный цилиндр и чистейший шелковый шарф были на нем от циркового иллюзиониста. В руке он держал короткую удочку, леска ее с почтением несла связку убиенных грызунов. Картонка на груди посетителя сообщала: «Истребитель крыс. Принимаю заказы». Лицо истребителя показалось Прокопьеву знакомым.

– Простите, – сказал Николай Софронович и направился к истребителю. Выяснилось, что Николай Софронович высок, ходит нынче по Москве в белом костюме, свободно пошитом, возможно, знаменитым кутюрье, из тех, кто Аллу готовит к балу.

В разговоре с истребителем Николай Софронович стоял, голову откинув чуть назад и скрестив на груди руки, был он и в этой позиции живописен, торопливые и можно предположить оправдательные слова истребителя выслушивал с милостивым терпением барина. Истребитель указал на кого-то, стоявшего за окном закуской и по распоряжению барина привел этого кого-то в помещение. Свет опять бил в глаза Прокопьева и сначала он увидел черный силуэт, но и по линиям силуэта стало понятно, что вошла женщина, форм приятных. А когда женщина повела разговор с Николаем Софроновичем, Прокопьев увидел, что она молода, а лицом – в его вкусе. Но и от женщины этой явно исходила опасность! Зловещий на вид истребитель с погубленными им крысами на удочке, по ощущениям Прокопьева, был совершенно безвреден, а от женщины в бейсболке надо было держаться подальше. Ко всему прочему и ее лицо показалось Прокопьеву знакомым.

– Извините, Сергей Максимович, придется вас покинуть. Дела-с. Еще раз извините... – произнесено это было так, будто уход собеседника должен был чрезвычайно огорчить Прокопьева или даже обидеть его. – Полагаю, мы поняли друг друга и вы все обдумаете. Может, на крайний случай и взамен себя кого-нибудь предложите...

– Я не понял ни вас, ни о чем вы говорили, – сказал Прокопьев.

– Ну полноте, Сергей Максимович, – разулыбался барин. – Вы как дитя малое. Вот вам моя визитка. И кстати, разрешите познакомить вас с нашей Ниночкой. Ниночка, это вот тот самый Сергей Максимович, о котором и вы оказались наслышанной.

– Очень приятно, – Ниночка в двух шагах от стола сотворила поклон и, естественно, улыбнулась, глаза у нее были темносерые, нет, синие, и никаких кикимор из них не выпрыгнуло.

Николай Софронович подхватил Ниночку под руку, и они удалились из закуской к ожидавшему их в переулке истребителю крыс. На спине искушавшего Прокопьев увидел хлястик. Уж точно, кутюрье был из дорогих.

– Я вам чуть-чуть водки подолью, чтоб вы успокоились, – сказал Арсений Линикк.

– Вы ее узнали? – спросил Прокопьев.

– Кого?

– Ниночку. При хлыще с эспаньолкой.

– Узнал. А как же. Следователи после убийства показывали фотографии. На одной была она.

– А здесь вы разве ее не видели? Ей позвонили и она расплакалась. Потом убежала.

– Здесь? Нет, не видел...

– Вы тогда еще назвали себя Гномом Телеграфа.

– Я – Гномом? – удивился Линикк. – Какой же я гном? Я инженер по технике безопасности и у меня кабельное хозяйство. Я вам удостоверение покажу.

– Не надо удостоверения, – скис Прокопьев.

Чем отличалась та рыдавшая Нина от нынешней улыбчивой? Именно тем, что рыдала, губы ее дрожали от страха, и главное – волосы ее были ужасными, неухоженно-жалкими. А теперь, стало быть, страхи прошли, и волосы богато уложены? Впрочем, их скрывала каскетка-бейсболка. И было произнесено со значением: она и оказалась о нем, Прокопьеве, наслышанной. Где, от кого?

Его искушали! Желали раззадорить и втравить в свои выгоды!

Нет, постановил Прокопьев. Сейчас же надо порвать оставленную ему визитку.

Все же он прочитал: «Агалаков Николай Софронович. Деловой человек. Держатель домов и галер. Почетный член Венецианских академий».

А что ее рвать, решил Прокопьев. И сунул визитку в карман. А вдруг понадобится.

– А все же, – произнес Арсений Линикк, смакуя пиво, – любой ваш тайник наш дядя Кеша раскурочит.

17

Соломатин маялся. Ночь он провел в вытрезвителе. Он не любил алкашей, в вытрезвителях не бывал, а теперь попал. «Ты это сделал! – орал ему губастый идиот. – Ты сделал Дью! Ты сделал Дью!»

Но лежал Соломатин вовсе не в вытрезвителе, а на своем диване и в собственном доме. И в уже здоровые уголки опечаленных извилин пробивалось мельком: «Не влили ли в меня вчера...позавчера...когда-то...отраву? С кем я пил?» С кем вчера или когда-то он пил, восстановить мыслью Соломатин не мог. Последним, кого он запомнил – был Дью. Дью щипал его и тормозил. Мерзкий и злобный карлик с шишками по всему голому шерстистому телу. Шишки или бугры Дью походили размерами на банки из тех, какими снимают легочные недуги. Шишками были нос и уши карлика, шишки заменяли ему рога, соски грудей, пальцы лап и признаки умственной зрелости между ног. Куда течет время – к полудню ли, к вечеру ли, Соломатин рассудить не мог, оттягивал пальцем веко – все вокруг было сумеречное. Но веко сейчас же сползало, и являлся гадкий губастый Дью. «А ты еще не сделал Эйфелеву башню! А ты еще не сделал течение Куросиво!» «Не Куросиво, сука! – будто бы кричал карлику Соломатин. – А Куросио! В энциклопедию заглядывай, подонок!» Этим течением Дью особенно допек Соломатина. «Да зачем мне делать течение Куросио? – стонал Соломатин. – Ну ладно, башню... Ну ладно, Монблан...А Куросиву-то зачем?» А ведь натура его понимала – зачем. И пить хотелось. Из волн течения, прежде не доходившего до холодной столицы, мотавших Соломатина то в небеса, то в пучины, иногда выныривал гнусный карлик Дью с кружками пива в лапах, протягивал их Соломатину. Однажды поднес ко рту восемь кружек и все с пеной. «В правой лапе „Сибирская корона“, – почуял Соломатин, – в левой – „Клинское бочковое“!» Он уже и губами добрался до края кружки и рот отворил, но кружка оказалась пустой, в соседней же плескалась блевотина. «Ах вы, гадины! – будто бы заорал Соломатин и будто бы огрел кулачищем бессовестного карлика. Тот, расхохотавшись, рассыпался на тьмы мелких, себе подобных, с малиновыми, бордовыми, сиреневыми, лиловыми щупальцами и шишками, иные имели шлемы мотоциклистов и бейсбольные биты. Омерзительные карликовые карлики змеились в клубках, верещали, требовали от Соломатина: „Сделай Дью! Сделай Дью!“, а течение Куросио стало слизью. Соломатин сумел все же оттопырить веко, свет был полуденный. „Надо хоть бы и доползти до туалета, доползти, иначе случится пошлость...“»

Получив облегчения и саданув пакет грейпфрутового сока, Соломатин установил, о чем можно забыть и о чем нужно вспомнить. Забыть следовало об издевавшимся над ним в запоздало-утренних дремотах карлике Дью, а вспомнить о том, с кем он пил, где и почему. Лишь после трех стаканов колониального чая «Гавайский закат» Соломатин сообразил, что некий наглец Дью, в клоунском наряде или просто идиотском, дергался вблизи него не только в унижительной дремоте, но и в освещенной лампами реальности, и на нем были – в мае – валенки с калошами.

Нет, не на нем. А на злодее. Дью говорил глупости, дерзил, был противен, но его, Соломатина, не поил. Дью даже разбудил Соломатина и направил его в туалет. То есть это был уже утренний карлик Дью, а не вчерашний, клоунский. Но вчерашний-то где-то дергался. Так. В переулке. Столешниковом. Куда он, Соломатин, вообразив себя удачливым балбесом, ехидным созерцателем, отправился по сладкоголосому призыву. Что он там получил? Была с усилиями осмотрена сумка (донес все-таки до крепостных дверей, донес!), и в ней обнаружили приобретения – Личный номер участника Финала. С ним была сцеплена невнятная расписка о получении с г-на Соломатина 297 рублей в качестве изначального взноса за мексиканско-американский справочник «Поливание кактуса». Блин, разъярился Соломатин, не

этот ли злодей в валенках с калошами и подзадорил его выкинуть триста целковых? Найти эту сволочь и раздавить, как Дью!

Однако ведь вчера не раздавил. Вышел из дома герой героем, а вернулся мелким грешником... Так. Стоп. Где прозвучало – «мелкий грешник»? В какой-то забегаловке недалеко от Столешникова, куда и завлек его обладатель валенок, приговаривая: «Укроемся в Щели!» От чего укроемся, в какой Щели? «Была бы баба ранена, – орал кто-то рядом, – но шел мужик с бараниной!» Независимым и чуть ли не всесильным полагал себя поутру Соломатин, иронистом холодным, а оказался управляемым чужой волей, ведомым, уведенным в укрытие, в Щель, где в него влили отраву, а перед тем причислили (вроде бы с состраданием) к мелким грешникам. Кто же был ведущим очумелого ведомого? Кроме его обуви ничто не возвращалось зрительным рядом в голову Соломатина. В валенках с калошами отправляли чиновники и эстеты наших зимних олимпийцев в мормонскую столицу. Олимпийцев... Опять же стоп!

Имя. Надо вспомнить имя, именем пригвоздить злодея к реалиям быта, и, известное дело, личность его потеряет силу, и чары развеются. Серафим Туликов! Какой Серафим Туликов? Звонить следовало в Кащенко с самодонесением. Нет, звонок отменим. Три недели мучил Соломатина вопрос кроссворда: «Композитор. Автор песни „Ленин в тебе и во мне“», и вот пожалуйста, ответ явился. Имя у валенок с калошами было странное. Мельхесидек? Мафусаил? Нет, это пророки. Аполлинарий? Нет, но близко...

Так! Самое время обнаружить дурацкую шкатулку, среднекисловский презент напарника, осенило Соломатина! Если предмет, конечно, в доме, а не выброшен в урну. Коли вспомнился Серафим Туликов, необходимости знать о ком у Соломатина не было никакой, должна показаться и шкатулка. Она не нужна, а нужно имя, подчинимся правилу, решил Соломатин. И он почувствовал, что шкатулка (ларец? пенал? предмет!) находится в его квартире, а не в урнах Брюсова переулка (то есть – теперь на свалке или в коллекциях). «Тепло» превратилось в «горячо», горячее влекло его в туалет, там имелись шкафчики для инструментов и коробок с химикатами, устроенные еще отцом. Здесь она, здесь, понял Соломатин. Стоило лишь протянуть руку... Но протянутая рука рубанула воздух. Ардальон! Вспомнил! Ардальон!

Ардальон!

Ардальон. Хельсинки, Олимпийские игры, четыреста метров, золотая медаль. Ардальон.

Не тот, конечно, Ардальон, не «золотой», а наш сегодняшний, Ардальон Полосухин.

И тотчас в памяти Соломатина возобновился весь Полосухин снизу доверху, от калош до щетины на голове, над ушами, на скулах и на подбородке – тут с сединой, не бандитской, а приличной и для главных режиссеров театров. И вспомнились Соломатину собственные застольные бормотания о каких-то хлястиках и вытачках. Но не подробности этих бормотаний, а некие физические ощущения близости с хлястиками и вытачками. «Какие такие вытачки?» – начал утруждать себя догадками Соломатин, но из-за тяжести в голове решил с вытачками повременить. Прежде всего должно было разъяснить себе самого Ардальона Полосухина, ни с того ни с сего приблудившегося к нему. Если бы приблудившегося...

Выходило так, что Ардальону было известно существенное о нем, Соломатине. Хотя, возможно, он и блефовал. Прием известный. Разукрашен в фильмах о разведчиках. Там иных и вербовали будто бы знанием достоверного, то есть компроматом. Но тогда получился бы шантаж. Ардальон же стремился вроде бы к доверительным отношениям, мы, мол, с тобой родственные души. Соломатин пытался отстоять свою суверенность или хотя бы чугунную ограду возвести между собой и Ардальоном, но не вышло. Ардальон прилип, ни сантиметра пустоты не оставил для возведения ограды. Соломатин движения предпринимал, чтобы отделиться от Полосухина, теперь-то можно было посчитать, что и платить двести девяносто семь рублей он бросился в расчете совершить нечто отличающее его от при-

липалы. Швырнул деньги жуликам, а освобождения не достиг. Что-то нужно было от него Ардальону. И ведь откуда-то Ардальон добыл (или получил) пусть и поверхностные знания о нем. Но вдруг и не поверхностные? «Мы созрели, и ты созрел...» Свое ли Полосухин выговаривал в порыве либо сгоряча или это «созрел» было внушено ему кем-то?

Однако нет, не созрел. Не созрел. Ошибся в понимании себя. И те «кто-то» ошиблись. Созревший Соломатин не подчинился бы воле или посулам верткого наглеца в валенках. И уж, конечно, не потратился бы на «Поливание кактуса». И ведь нельзя было признать Ардальона личностью сильной. И энергетика его была средних значений. Пожалуй, и ниже средних значений. Хотя он с ним, Соломатиным, и управился (мысли о последних эпизодах общения с Ардальоном Соломатин пока отгонял, в них было много досад, слизи и блевотины, из них еще выпрыгивал мерзкий карлик Дью). Легкий, верткий, быстрые деньги, быстрые деньги! Быстрые деньги сгорели и обожгли пальцы, теперь попытаемся подобраться к неспешным деньгам. Из основательных намерений – лишь какой-то железнодорожный состав. Бочка Каморзина!.. И важное: он ведь чего-то испугался в Столешниковом переулке, в «Аргентум хабар», он не просто подталкивал Соломатина в какую-то щель и к разговору в ней, он явно от чего-то бежал. А Соломатина удерживало в «Хабаре» нечто властное, чужое, но при том и лакомое, чары ли какие опрокинула на него дама-распорядительница, или вот-вот должна была явиться душистая Елизавета, отличница с косичками. Блин, еще и Елизавета! И тут он – в непредвиденных чарах и путах! Возможно, и Ардальон бежал в укрытие от направленных на него чар и пут...

Беглецы. Слабые люди. Мелкие грешники.

Вот оно! Явилось опять! И осветилась для Соломатина закусочная в Камергерском.

Закусочную Соломатин знал. А двор ее – еще лучше. И слово давал: больше в нем не бывать и близко к нему не подходить. Подошел. Занесло.

Тогда и прозвучало ключевое: мелкие грешники. Кассирша в счете – человек обязательный, и цена ею была назначена точная.

Всеми в закусочной (кроме оравшего о мужике с бараниной, разве что) слова кассирши были услышаны и почти всех они заставили замолчать. Задумались стервецы, задумались. Даже этот, кого отчего-то постояльцы посчитали похожим на Габена и к кому Соломатин подойти был не в силах, а тянуло, даже этот, похоже, поскучнел. Все, все приуныли. И наглец Ардальон Полосухин не смог произнести ничего путного, остроты никакой успокоительной выдавить из себя не сумел. Будто всех примяли козырным тузом. И это был туз пик. А из двух слов опечалило многих несомненно: мелкие. Впрочем, возникали сразу же в нем, Соломатине, и протест, и роптание некое: а вам-то какое дело, кто я и как живу, так и живу, так и буду жить!

Хотя нет, суть протеста или суть тихого ворчания, даже суть невымолвленных слов была иная. Теперь в одиночестве, в спокойствии, не излечив, правда, организм от последствий отравы, Соломатин принялся роптать заново. А кто такие нынче грешники? Кто из них великие и кто мелкие? Что расстраиваться-то? На боку аппарата Людмилы Васильевны сообщалось: «Касса работает в настоящем режиме цен». Федор Михайлович собирался написать решительное сочинение о Великом Грешнике. Кабы он поприблизился в двадцатом веке и понаблюдал бы за иными его персонажами, хотя бы за двумя, затеявшими людские побоища, кого бы он взял в свои герои и по поводу каких грехов бы разрыдался? Что бы он нарассуждал по поводу крови младенцев? То-то и оно. Убили Александра Освободителя, и надобность в существовании Федора Михайловича отменили. И что нынче грех и что нынче добродетель? Что нынче честь? При злодействе в двадцатом столетии двух упомянутых персонажей с добродушными усами, даже и не будем говорить: злодействе, а скажем – при осуществлении житейской практики животными существами, наделенными разумом, сместились, изуродовались всяческие знаменатели, всяческие таблицы грехов и добродетелей. Сказано было:

интриган Шемяка жил, не имея ни закона, ни суда Божьего. А как сейчас-то живут удачливые? Сомнения Раскольникова способны вызвать лишь сострадательные усмешки: чудака, чего терзаться-то? Убил старушку, наследил, попался, оттяни срок и живи далее. Деловые отморозки из Тамбова не имеют времени на жалости, но зато при металлических телегах и деньгах. Еще в семнадцатом веке в благополучных Нидерландах выведено: «Успех есть залог добродетели». Успех! С кровью он добыт, в подлости ли, в подвиге ли горнем, в подчинении ли сатане либо, напротив, в послушании архангелу со снежными крылами, неважно. Успех есть успех. И он – залог добродетели! Другое дело, каков у кого успех – с гору ли он Джомолунгму или с бугорок огуречной грядки? Оттого-то вчера и пригорюнились в Камергерском мелкие грешники, что успехи (если они вообще добыты) у них – мелкие. Впрочем, многие-то пригорюнились на секунду, потому как великие успехи и уж тем более великие грехи (возвратимся к таблицам вздорных условностей) им и не нужны. И не по силам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.